

Horror Story

# Ханс Хайнц ЭВЕРС

# КОШМАРЫ

18+

РИПОЛ КЛАССИК

Horror Story (Рипол)

Ганс Эверс

**Кошмары**

«РИПОЛ Классик»

1908, 1909, 1911, 1922

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)6-44

## Эверс Г. Г.

Кошмары / Г. Г. Эверс — «РИПОЛ Классик», 1908, 1909, 1911, 1922 — (Horror Story (Рипол))

ISBN 978-5-386-14653-5

В издании представлены два авторских сборника малой прозы выдающегося немецкого писателя Ханса Хайнца Эверса (1871–1943). Сборник «Кошмары» впервые представлен на русском языке в полном объеме; некоторые рассказы из книги «Одержимые» переведены заново. Собратья по цеху называли Эверса самым отвратительным типом среди своих знакомых, читатели величали его «немецким Эдгаром По», великий Лавкрафт восторгался его произведениями. Творчество этого автора, обнажающее ужас человеческих взаимоотношений, впитало традиции романтизма, декаданса и экспрессионизма. Герои его «страшных историй» попадают в ситуации, требующие чудовищных усилий воли и напряжения самых темных сторон людской природы.

УДК 821.112.2  
ББК 84(4Гем)6-44

ISBN 978-5-386-14653-5

© Эверс Г. Г., 1908, 1909, 1911, 1922  
© РИПОЛ Классик, 1908, 1909, 1911,  
1922

## Содержание

Ханс Хайнц Эверс: фотоальбом	6
Снимок первый: зловещий нелюдь	6
Снимок второй: беспокойный юноша	8
Снимок третий: путешественник	10
Снимок четвертый: театрал и киноман	11
Снимок пятый: оступившийся	12
Снимок шестой: писатель	13
Снимок седьмой: мертвец	14
Кошмары	16
Казнь Дамьена	17
Дело Ларса Петерсена	28
Отступница	42
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# Ганс Гейнц Эверс

## Кошмары

© Шокин Г. О., составление, вступительная статья, перевод на русский язык, 2021

© Крутова Е. О., перевод на русский язык, 2021

© Колыхалова В. И., перевод на русский язык, 2021

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

## Ханс Хайнц Эверс: фотоальбом

*Не станешь же отрицать, дорогая подруга, что есть существа – не люди, не звери, а диковины, которые рождаются от темного наслаждения абсурдными мыслями?*

*«Альрауна»*

### Снимок первый: зловещий нелюдь

Чтобы последовательно говорить о писателе, нужно досконально знать если не все его творчество, то хотя бы бо льшую часть. В случае с Хансом Хайнцем Эверсом это едва ли возможно: из многих написанных им произведений русского перевода удостоились лишь популярные, кажется, в любой период российской истории рассказы и романы ужасов и обрывочно изданная в начале двадцатого века «походная проза». Конечно, «Альрауна» и «Паучиха» – вещи известные, но кому знаком Эверс-сказочник или Эверс – автор «Хорста Весселя» и «Всадников немецкой ночи», который сперва был восхвален, а впоследствии проклят той же НСДАП, сжигавшей его книги на кострах?

Между тем сам Говард Лавкрафт звал Эверса «самым выдающимся представителем насущного поколения немецких писателей ужасов», «серьезным знатоком актуальной психологии», а тех же «Паучиху» и «Альрауну» возвел в ранг классики, о чем упомянуто в эссе «Литература сверхъестественного ужаса». Но над Эверсом будто бы витала злая аура: его репутация тяготилась писанием панегириков зарождающемуся немецкому фашизму и близким знакомством с Алистером Кроули. Современники находили его личностью темной и отталкивающей на многих уровнях, в том числе и на внешнем. Вот как, например, его описывала Марта Додд, американская публицистка и советская шпионка, в книге «Из окна посольства»:

«На одном вечере, где очень много пили и веселились напропалую, я встретила с Хансом Хайнцем Эверсом, который прежде писал упадочные рассказы, полные дешевых пугалок. <...> Старый и дряхлый, с моноклем в глазу, безуспешно старающийся казаться моложе своих лет, он представляется мне одним из самых отвратительных типов, с какими только приходилось встречаться. Когда он взял мою руку и поцеловал ее, я вся сжалась от отвращения. Ладони у него были все в какой-то коросте и подсохших красных струпьях, жесткие и противные. После его рукопожатия мне немедленно захотелось пойти вымыть руки. Я будто дотронулась до жабы или до какой-то омерзительной рептилии, только что сменившей кожу. Его лицо было бугристым, непристойно опухшим, как у алкоголиков и дегенератов. Его манера поведения была аффектированной, заискивающей, с похотливыми козлиными нотками. Помню, я была глубоко возмущена, когда он сказал мне, что женат на американке, как можно скорее уйдя в другую комнату, чтобы отвязаться от этого зловещего нелюдя с его симпатиями нацизму».

Описание, конечно, нельзя назвать положительным, но именно поэтому я считаю его верным – оно идеально передает неповторимый шарм писателя. Если отбросить некоторый респектабельный морализм, Марта Додд все-таки была права: если посмотреть на его фотографии, он всегда кажется преждевременно постаревшим, несколько чопорным, с улыбкой вроде бы располагающей, но в чем-то хищной. Но если вслед за Ханной Арендт признать банальность зла, то Эверс злом быть никак не может. Его жизнь, полная излишеств и сменяющихся интересов, выписывает личность мятущуюся, но живую, причудливую, со страстью к экспериментам со всевозможными личными, политическими и литературными установками. Эверс был всегда готов к поискам истинного, даже если те уводили за грань. Националист и путешественник, писатель и кинорежиссер, сторонник прав меньшинств, после принятия Нюрнбергских зако-

нов в 1935 году поддержавший друзей-евреев, добыв им выездные визы в Великобританию и США, Эверс был очень противоречивой личностью.

И именно в этом ключе требуется трактовать его отношение к немецкому фашизму. Хотя Луи Паувельс и Жак Бержье в своей книге «Утро магов», посвященной оккультизму, науке и истории, утверждали, что увлечение Эверса национал-социализмом было связано с тем, что писатель видел в нем «самое мощное выражение сил Тьмы», Эверс поплатился за свои заигрывания – его свобода слова была наказана смертным приговором, которого он с большим трудом избежал. После «ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года большая часть книг Эверса как писателя-декадента и «гомосексуала, некогда поддерживавшего Эрнста Рема», была запрещена в Германии. Особо суровому запрету подвергся третий роман из цикла о Франке Брауне «Вампир» (1921, рус. 2018) из-за положительного образа возлюбленной главного героя, девушки-еврейки.

Хотя в настоящее время широкому кругу читателей Эверс неизвестен, необычность его как писателя делает его показательной фигурой эпохи Веймарской республики – момента в истории, когда добро и зло перепутались, – и одним из самых важных ее родоначальников.

## Снимок второй: беспокойный юноша

Собственно говоря, имя, вынесенное на обложку, – псевдоним. Писатель Ханс Хайнц Эверс, появившийся на свет 3 ноября 1871 года в Дюссельдорфе, на родине Гейне, при рождении получил имя Ганс Генрих (или Хайнрих, если придерживаться германской фонетики) Эверс. Разница между Хансом и Гансом в немецком выражалась интересным образом: *Hans* и *Hanns*, с удвоенной «n», видимо призванной добавить в имя большей твердости, некой австрийской решимости. Впрочем, ни в одном русскоязычном издании, включая самые первые, дореволюционные, эта особенность никак не была отражена, да и в традиции передачи немецких имен на русский «Ханнс» – вариант едва ли прижившийся, так что остановимся на более привычном «Хансе» – компромиссном.

Родители будущего писателя были художниками – отец, в частности, служил «штатным» портретистом при дворе Фридриха Франца II Мекленбургского (между делом – правнука российского императора Павла I). Это привело к тому, что у Эверса сложились прочные отношения с его матерью и бабушкой по материнской линии, которая жила с ними. Обстановка еще больше укрепилась после смерти его отца в 1885 году.

Чтобы поддерживать доход, вдова Эверс принимала на постой жильцов. Болезненно застенчивый Ханс влюбился в одну из постоялиц, Хелен Лили Шлейфенбаум. К сожалению, его страсть была безответной, несмотря на всю его одержимость, и это впоследствии привело к годам мучений и ненависти к себе, а также и к двойственному отношению к женщинам, вполне отчетливо прослеживаемому по ряду его рассказов: «Казнь Дамьена», «Из дневника померанцевого дерева», «Как умер Езус Мария фон Фридель».

Как и Гейне, Эверс начал изучать право в Берлинском университете, но учеба была для него чем-то вроде наказания. Его исключили за недисциплинированность, поэтому он повторил попытку и поступил в Боннский университет, который окончил в 1894 году. Он был молод и неугомнен, интересовался оккультизмом и спиритизмом, употреблял гашиш, ненадолго вступил в Психологическое общество Дюссельдорфа. О нем отзывались как о «талантливом медиуме», но его циничное отношение к одноклубникам привело к изгнанию в 1896 году. Эверс недолго пробыл в студенческом корпусе и работал на государственной службе, и хотя в конечном счете в 1898 году ему была присуждена степень доктора юридических наук, он никогда на самом деле не практиковал в качестве юриста; в 1897 году его и вовсе приговорили к четырем неделям заключения в крепости-тюрьме Эренбрайтштайн, с запретом на любую государственную службу.

Примерно в те же годы он познакомился со своей первой женой, художницей Ильной Вундервальд. Эверс начал активно писать для различных газет и смог опубликовать свои первые произведения – стихи, сборник сказок («Ein Fabelbuch»), пьесы. Любопытно, что именно тогда, на почве сотрудничества с журналистом Адольфом Брандом, Эверс описывал гомосексуализм как добродетель. Профессор Бранд слыл законченным анархистом, видной фигурой декадентской сцены в Берлине, издателем журнала «Die Gemeinschaft der Eigenen» («Клуб собственности»), где постулировалось следующее: «Молодой человек не должен вступать в половую связь ни с одной женщиной до брака, а до тех пор, без надобности к продолжению рода, стремиться к наивысшей радости человеческого общения с другом, который – его идеал, который понимает его <...> который поддерживает его как товарища и обогащает его как человека и который готов с желанием и любовью, ради его красоты, его характера и его личности, оказать ему все мыслимые услуги» (статья Бранда «Чего мы хотим», 1925). Однако вопреки всему, что высказывалось Эверсом в ту пору на бумаге, в 1901 году его женитьба на Вундервальд стала делом окончательно решенным и вряд ли продиктованным исключительно потреб-

ностью в наследниках. Иллюстрации к дебютным изданиям книг Эверса почти всегда создавались его супругой.

## Снимок третий: путешественник

В разъездах по Италии пара Эверс – Вундервальд провела с 1902 по 1904 год. Хансу уже приходилось бывать на Капри в 1898 году, там он повстречал Оскара Уайльда, своего литературного кумира (встреча нашла отражение в рассказе «Тридцать третий»). В те годы остров был излюбленным пристанищем интеллектуалов, художников, политдиссидентов и «голубой тусовки» того времени. О своем пребывании на Капри и поездке по Италии Эверс пишет книгу «Mit meinen Augen» («Моими глазами», 1909). За ней следовали «Семь морей» («Von sieben Meeren») и «Индия и я» («Indien und ich», 1911, рус. 1924). Он начал работать туристическим корреспондентом в различных газетах; исколесив Италию вдоль и поперек, с супругой направился в Испанию, затем, в 1906-м, в Центральную Америку, где пара посетила Кубу, Мексику, Карибское море. Гаити сильно очаровал Эверса, и, судя по всему, он даже участвовал в отправлении церемонии вуду; следы этого увлечения можно найти в рассказе «Мамалои». В 1908 году Эверс с женой снова в Южной Америке; их маршрут – от побережья Бразилии через Аргентину в Парагвай. На обратном пути они останавливаются в Буэнос-Айресе, а затем – снова в Рио-де-Жанейро, после чего возвращаются в Европу. Наконец, в 1910 году, Эверс оказывается в Юго-Восточной Азии и путешествует по Индии, Цейлону и Австралии.

Эверс, как уже очевидно, был неутомимым путешественником, но всегда держал связь со своей родиной, где его к тому времени уже хорошо знали и ценили. Он печатался в Германии и Франции, сделался директором и совладельцем театра «Модерн» в Берлине, встречался и дружил с такими писателями, как Эрих Мюсам (этнический еврей, анархист-коммунист и политический активист), Джон Генри Маккей (шотландский натурализованный немец, анархистский мыслитель и друг Рудольфа Штейнера), Герхарт Гауптман (романист, лауреат Нобелевской премии). Также Эверс был большим другом писателя, иллюстратора и чудаковатого денди Пауля Шеербарта, которого спонсировал и призывал к этому других (Шеербарт, предшественник сюрреалистов, при жизни оценен не был, жил в непреходящей нищете, во время Первой мировой умер от голода в подьезде собственного дома).

## Снимок четвертый: театрал и киноман

Не только начальство над театром, но и общий артистизм натуры Эверса, любившего в молодости выступать в камерных декадентских постановках как мим и актер, приводит к тому, что в театральном мире у писателя – легион знакомых. Он знал Макса Рейнхардта – пожалуй, самого известного и популярного театрального режиссера своего времени; с ним Эверс будет работать над своим первым фильмом «Пражский студент». Во всех началах, что связаны со сценой, писателя поддерживал француз Марк Генри – переводчик многих его произведений, написавший вместе с ним либретто для целой оперы. У Эверса также был роман с художницей Мари Лоренсин, которой он посвятил пьесу «Берлинская ведьма» («Das Wundermädchen von Berlin», 1912), которая не имела большого успеха и была поставлена только один раз; Эверс подписал ее псевдонимом «le mouton carnivore», «плотоядная овца».

Когда в 1913 году был создан сценарий к «Пражскому студенту» («Der Student von Prag»), писатель едва ли осознавал, что создает первую ленту немецкого экспрессионизма – для сравнения: «Кабинет доктора Калигари» был снят только в 1920 году! «Студент» выдержал два «ремейка»: после оригинала 1913 года вышло еще две версии – в 1926-м и в 1935-м. Зигфрид Кракауэр, выделяя из всех фильмов времен империи единичные работы, отмечает: «„Пражский студент“ впервые утвердил на экране тему, которая превратилась в наваждение немецкого кино, – тему глубокого, смешанного со страхом самопознания».

В 1928 году удостоивается экранизации «Альрауна» – персональный хит Эверса, роман, где впервые появляется сквозной герой-экспериментатор Франк Браун. Мистико-фантастическая мелодрама, созданная под самый занавес эпохи немого кино, снята уже в полную силу экспрессионизма, по всем его канонам. Снял фильм режиссер и сценарист Хенрик Галеен, а в главных ролях блистали легенды раннего немецкого кино Пауль Вегенер (уже известный по «Голему», экранизации Густава Майринка) и Бригитта Хельм (звезда «Метрополиса»). Своеобразная переосмысленная женская версия монстра Франкенштейна, героиня Хельм интересна тем, что приносит удачу мужчинам, которые находятся рядом с ней. Немое кино, казалось бы, ограничено в выразительных средствах, но образ Хельм с ее фантастической пластикой «цепляет» и в наши дни, когда старый черно-белый фильм, казалось бы, не способен выдержать конкуренции с полноцветным звуковым собратом. У Пауля Вегенера средства скупее, но так очевиднее и контраст ролей: прагматичный ученый-генетик, влюбившейся в свое создание, пошедший против природы, приходящий в итоге к трагическому концу, и его «wild child» Альрауна, потусторонняя в каждой черте, в том, как она двигается, отдаляется и приближается, манит и отталкивает одновременно. Не будь первоисточника, впрочем, не было бы и разговора об этих образах, и, как отмечает историк кино Жорж Садуль, не будь Эверса, не было бы и краеугольного камня в основе грядущего немецкого кино.

## Снимок пятый: оступившийся

На фоне множественных профессиональных успехов брак писателя с художницей Ильной (как поговаривали злые языки, к тому времени уже переживший не один кризис) дал трещину и в 1912 году распался. «Берлинская ведьма» Лоренсин повторно открыла для Эверса мир наркотиков, пристрастие к которым существенно подорвало его здоровье.

Во время Первой мировой войны он укрылся в Америке и познакомился с Алистером Кроули, с которым сотрудничал в написании ряда работ. В течение всего конфликта он не выезжал из Германии и был арестован в Штатах за поддельные документы. Именно там он написал опального «Вампира» и сборник рассказов «Кошмары» (зарисовки американской провинциальной жизни и нравов тех времен чуть ли не более ценны, чем основной сюжет рассказа «Отступница»). В 1921 году Эверс женится во второй раз, на американке Жозефин Брумилль, и приступает к деятельности театрального художника-постановщика. О былой популярности, впрочем, остается лишь мечтать, да и неудачный брак распадается уже в 1930-м. По возвращении на родину у Эверса никак не получается влиться в интеллектуальную жизнь послевоенной Германии. Не приносят желаемого смена издательства и предложение сотрудничества тогдашнему министру по иностранным делам Вальтеру Ратенау – министра устраняет праворадикальная антисемитская группировка, опубликованное в 1922 году апокрифическое продолжение романа Фридриха Шиллера «Der Geisterseher» (рус. «Духовидец», 2000) встречает шквал критики. Обстановка в Германии к тому времени ощутимо меняется: приход нацистов к власти уже близок. Эверс, в ту пору как никогда погруженный в экзистенциальный поиск, не в состоянии распознать чудовищную и уродливую природу грядущих социально-политических изменений.

Последним фильмом, сценаристом которого значился Эверс, был «Хорст Вессель» 1932 года – по одноименному роману, написанному годом ранее. Это было жизнеописание мученика нацизма, причем заказное, но в итоге не получившее положительной оценки со стороны заказчиков. Именно «Вессель» ознаменовал стремительный упадок Эверса-творца. Уже в 1933 году его книги публично жгут, а фильм запрещает Геббельс (позже он все-таки будет выпущен, но с цензурой и изменением имени героя на Ганс Вестмар). Эверс оказался среди тех, кого национал-социалистическая партия приговорила к смерти. Казалось бы, он был долгое время близок к нацистской партии, вот только в 1932 году, на первых свободных выборах после войны, он проголосовал не за Гитлера, а за Гинденбурга. Эверсу претили, по вполне очевидным причинам, антисемитские взгляды назревающего режима, равно как и преследование гомосексуалистов – уж кого-кого, а евреев и геев в кругу писателя было так много, что одного этого обстоятельства хватало для косых взглядов со стороны членов НСДАП. Подливал масла в огонь и тот факт, что Хорст Вессель, по иронии, был выведен у Эверса как довольно-таки сомнительная фигура – вовсе не как без пяти минут святой, каким его представляла пропаганда. Эверс, приверженный свободе самовыражения до конца, за свои же принципы и поплатился.

В 1935 году писатель вышел из национал-социалистической партии. Он вступил в отношения с 27-летней Ритой Грабовски, которая была наполовину еврейкой. В то же время литератор помогал преследуемым евреям; добился того, что и Рита тоже бежала. Когда в 1943 году ему наконец удается добиться снятия запрета на печать, гестапо конфискует все изданные к тому моменту книги.

## Снимок шестой: писатель

Рассуждать об истоках любви Эверса к ужасному на фоне вышперечисленных фактов из биографии, пожалуй, излишне: декадент, любитель оккультизма, повидавший и испытывавший на своем веку многое (по меркам современного человека, возможно, даже слишком). Даже в его ироничных рассказах подчас сквозит тревожная нота. Собственно, все его творчество лучше всего описывается не банальным приевшимся «horror», а куда более точным, как и все немецкое, «unheimliche» («нехорошее» и в то же время «тревожное», «пугающее», «непознанное»).

На самом деле ужасы Эверса очень редко имеют сверхъестественную природу, в отличие от ужасов Лавкрафта, Дэвида Линдсея и Томаса Оуэна. Наиболее мистический рассказ во всем сборнике «Одержимые» – это «Паучиха», но даже и в нем зло, очевидно сверхъестественное, очень сдержанно проявляет себя. Темные боги не приходят открыто на землю, призраки и монстры не бросаются на своих жертв; основной и чуть ли не единственный источник ужаса во всех рассказах Эверса – человек, способный на жуткие деяния по отношению к другому человеку. В «Тофарской невесте», истории из сборника «Ужасы», делец-могильщик бальзамирует смертельно больную девушку героя, чтобы продать ее труп под видом древнеегипетской мумии; в «Казни Дамьена» супруга английского лорда столь очарована описанием четвертования царевубийцы, что буквально посвящает проживанию кровавой сцены в своем воображении всю жизнь; даже ее интрига с молодым героем рассказа – лишь штрих к полноте чудовищной картины, ведь, согласно иным свидетельствам, «знатные дамы французского общества предавались блуду прямо у окон, не отводя глаз от страданий приговоренного на площади». Чтобы отомстить мужу, которого не любила, героиня «Завещания Станиславы д'Асп» разыгрывает после смерти чудовищный кровавый спектакль; иерусалимская «религиозная бюрократия» в «Народе иудейском в Иебе» воспрещает людям в городе-крепости укрепить символ веры, и все его жители гибнут, не в силах сдержать натиск воинственных бунтовщиков-египтян. По Эверсу, источник всех кошмаров – сами люди и нездоровые проявления их психики; даже те проблески мистического, что можно отыскать в рассказах «Отступница» и «Моя мать – ведьма», можно приписать лишь видениям, наваждениям, рожденным в чем-то испуганном сознании. Сверхъестественной, согласно Эверсу, полноправно назвать можно лишь человеческую жестокость. Жестокость обычая («Синие индейцы») и закона («Господа юристы»), жестокость увеселительных зрелищ (коррида в рассказе «Как умер Езус Мария фон Фридель») и светских раутов («Бледная дева»), ну и, в самом общем смысле, жестокость мужчин и женщин (инфернальные дамы – вообще магистральный образ в творчестве Эверса), детей Божьих. В мрачном театре немецкого темного гения Эрос и Танатос неизменно шагают рука об руку, но зарождаются они всегда в человеке, а не где-то извне, в мире идей.

Поэтому, возможно, для современного читателя рассказы эти покажутся не вполне, а может, и вовсе не «хоррорными». Между тем странно было бы отрицать, что отголоски творчества Эверса до сих пор слышны в жанре сплаттерпанка, изначально построенного именно на создании гротескных кровавых ситуаций, в которые вовлекаются маргинальные герои. Ну а если присмотреться к рассказу «Тридцать третий» и вспомнить аморфное чудовище из сна Уайльда, которое всегда присутствует где-то позади людских толп и смеется их голосами, и напутствие писателя отбросить антропоцентризм и признать жизнь сном безымянного монстра, то не здесь ли обнаруживаются прообраз Нифескюрьяла и истоки философии пессимистических ужасов в «черных текстах» Томаса Лиготти?

## Снимок седьмой: мертвец

Как уже упоминалось выше, запрет на печать произведений Эверса был окончательно снят в 1943 году, но к этому времени он был уже глубоко больным человеком. Годы злоупотребления алкоголем и наркотиками и стрессы последних лет обернулись болезнью сердца и впоследствии привели к туберкулезу.

Эверс умер 12 июня 1943 года в своей берлинской квартире. В тот же день дом его детства будет разрушен бомбами союзных войск. Сохранившиеся свидетельства сообщают, что в последних словах писатель проклинал свое имя и сетовал, что «прожил жизнь осла». Его посмертная книга «Die Schönsten Hände der Welt» («Самые красивые руки в мире») была опубликована позже в том же году издательством «Zinnen-Verlag», но почти сразу была запрещена.

Послевоенная оценка наследия Эверса следовала довольно предсказуемым курсом – Германия поспешила откреститься от него, как и от всей своей недавней истории; для стран, говорящих на английском языке, он стал практически неизвестен, поскольку на язык По и Байрона было переведено лишь несколько из ста тринадцати его рассказов, составителям антологий было особо не из чего выбирать (хотя некоторые засветились в монументальном проекте Герберта ван Тала «Pan Books of Horror Stories»). Романы же оказались для издания труднодоступны и дороги. Судьба Эверса в России интересна – в начале двадцатого века его публиковали много и охотно в журнале «Огонек» и в виде полноценных авторских сборников (собственно, многие переводы тех времен не утратили и сейчас первоначального блеска, хотя попадались и неудачные); в 1933 году в газете «Литературный Ленинград» выходит статья Надежды Рыковой «Певец во стане коричневых рубашек», критикующая избранный автором идеологический курс, после чего по понятным причинам наступает долгое издательское затишье. При этом Эверса, как минимум, продолжали читать на языке оригинала – шутка ли, у самого Игоря Северянина в сборнике «Очаровательные разочарования» (1940) имеется прелестное стихотворение «Ганс Эверс», написанное по мотивам рассказа «Отступница», в то время еще не переведенного на русский:

Его гарем был кладбище, чей зев  
Всех поглощал, отдавших небу душу.  
В ночь часто под дичую грушу  
С лопатой прокрадывался Стеф.

Он вынимал покойницу, раздев,  
Шепча: «Прости, я твой покой нарушу...»  
И, на плечи взвалив мечту, как тушу,  
В каморку нес. И было все – как блеф...

И не одна из юных миловидных,  
Еще в напевах тлея панихидных,  
Ему не отказала в связи с ним,  
Почти обрадованно разделяя ложе.  
И смерть была тогда на жизнь похожа:  
Невинность, грех – все шло путем одним.

Краткий всплеск популярности – на волне читательской любви ко всему ужасному и мрачному – ждал Эверса в 1990-х; вот, к примеру, что пишет о «Паучихе» редактор фэнзина «MAD LAB» Владимир Шелухин: «В самой прозаической обстановке, не проливая ни капли

крови, без нажима, приоткрывая свои карты в самом начале и играя без ухищрений, автор незаметно заманивает нас в паутину поначалу неосязаемого, но оттого еще более странного зла, перед которым человек бессилен. Неспешное, какое-то сонное даже течение дней, скрупулезно отраженное дневником последней жертвы, усыпляет нас, знающих и понимающих куда больше беспечного студента-медика». Но с тех лет раз за разом переиздавалась лишь «Аль-рауна» в достаточно вольном переложении Михаила Кадиша (1912). Настоящее издание призвано исправить ситуацию и напомнить о невиданной силе Эверса – мастера короткой формы.

Его произведения способны «выстрелить» до сих пор – помимо самих сюжетов, есть в них и многослойные подтексты для тех, кто хочет их открыть. Для Эверса форма была маской содержания, которое он хотел донести, – маской разной степени непрозрачности. По его мнению, и физическое тело также было маской истинного, внутреннего «я». Как писал Ханс Эверс в своем раннем дневнике: «Как я счастлив, когда могу заставить людей поверить, что я холодный, жестокий и циничный; я всегда думаю: это мне подходит! Но все это – просто жалкая ложь».

*Григорий Шокин*

# Кошмары

*Nachtmahr*

*1922*

## Казнь Дамьена

*...Поэтому я верю, что ощущения содержат нечто большее, чем воображают себе философы. Они – не просто пустое восприятие определенных впечатлений, рожденных в мозгу; ощущения не только дают душе представления о вещах, но также действительно представляют объекты, которые существуют вне души, хотя невозможно понять, как это происходит на самом деле.*

*Леонард Эйлер.*

*Письма немецкой принцессе. Т. II, с. 68*

Они сидели в вестибюле санатория, развалившись в кожаных креслах, и курили. Из танцевального зала неслась музыка.

Эрхард достал часы и зевнул.

– Час поздний, – заметил он, – и пора бы им уже закончить.

В этот момент к ним подошел молодой барон Гредель.

– Я помолвлен, господа! – возвестил он.

– С Эвелин Кещендорф? – спросил толстый доктор Хандл. – Быстро вы!

– Поздравляю, кузен! – воскликнул Аттемс. – Телеграфируй мамочке.

Но Бринкен сказал:

– Осторожно, мой мальчик! У нее губы типичной англичанки – плотно сжатые, и ни намека на чувственность!

Красавец Гредель кивнул:

– Ее мать родом из Англии.

– А я и не сомневался, – сказал Бринкен. – Вы играете с огнем, юноша!

Но барон не слушал. Он поставил на стол бокал и побежал танцевать.

– Вы не любите англичанок? – спросил Эрхард.

Доктор Хандл захохотал:

– Разве вы не знаете? Он терпеть не может женщин с происхождением и положением в обществе, особенно англичанок! Ему по душе только глупые и дородные бабы, знающие от силы пару человеческих слов, – коровы да гусыни!

– *Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste!*<sup>1</sup> – процитировал Аттемс.

Бринкен пожал плечами:

– Может, это и так, не знаю. Но было бы неверно утверждать, что я ненавижу умных женщин; если ум – их единственная добродетель, они вполне способны прийтись мне по нраву. В вопросах любви я остерегаюсь тех дам, у кого – чувства, дух, развитая фантазия. Коровы и гусыни, по мне, почтеннейшие животные: кушают злак и сено, ничуть не посягая на своих собратьев.

Присутствующие не торопились с реакцией на его слова, и он продолжил:

– Ежели интересно, я поясню свою мысль. Сегодня рано утром, когда солнце только всходило, я прогуливался по *Val Madonna* и увидел пару изнаывающих от любви змей, двух толстых гадюк синевато-стального цвета, каждая – с полтора метра длиной. Они скользили между камнями – то расплзались, то возвращались друг к другу, обменивались шипением; а потом переплелись крепко и, встав дыбом, принялись рас качиваться на своих хвостах. Их головы прижимались друг к другу, пасти были раскрыты, а раздвоенные язычки раз за разом пронзали воздух, как две маленькие молнии! О, нет ничего прекрасней этой брачной игры! Их отли-

---

<sup>1</sup> Любить умных женщин – удовольствие для педераста! (фр.) Приписывается Шарлю Бодлеру. – *Здесь и далее примечания переводчиков.*

вавшие золотом очи сверкали; мне мнилось, будто на головах у них красуются яркие короны! Потом, измотавшись, они упали наземь, по разным сторонам, да так и остались лежать, греемые солнцем. Но самка вскоре пришла в себя. Она не спеша подползла к своему истомному жениху, схватила его, абсолютно беспомощного, за голову и начала поглощать. Задыхаясь, она бесконечно медленно, миллиметр за миллиметром, заглатывала своего партнера, и это было ужасное зрелище – все мускулы ее тела напряглись в усилии пожрать тварь, большую по размерам, чем она сама. Казалось, ее челюсти не выдержат и в какой-то момент треснут; с каждым рывком тело ее любовника все глубже уходило в пасть к ней. Наконец, остался торчать лишь кончик хвоста длиной с человеческий перст: дальше он просто не мог продвинуться. А она лежала на земле – распухшая, отвратная, неспособная даже шевельнуться.

– Поблизости не случилось палки или камня? – поинтересовался доктор Хандл.

– К чему? – спросил Бринкен. – Разве же я имел право наказывать змею? Природа, в конце концов, – храм дьявола, а не бога, об этом еще Аристотель говорил. Нет, я только и сделал, что схватил кончик хвоста, торчавший у нее из пасти, и вытащил незадачливого возлюбленного из чрева его прожорливой зазнобы. После они еще с час лежали рядышком на солнце – хотел бы я знать, о чем они думали все это время... После змеи уползли в кусты, притом в разные стороны: он – налево, она – направо. Даже змея не позволит себе съесть собственного супруга во второй раз. Но тот бедняга после случившегося, возможно, станет осторожнее.

– Ничего из ряда вон выходящего, – произнес Эрхард. – Самка паука всегда пожирает самца после совокупления – это известный факт.

Бринкен продолжил:

– *Mantis religiosa*, самка богомола, даже не дожидается конца. Наблюдать ее манеры вы можете хоть бы и прямо здесь, на Адриатике, – в этот сезон вам не придется долго искать спаривающихся особей... Самка ловко выворачивает шею, хватает передними придатками-клещами голову самца, оседлавшего ее, и начинает пожирать в самом разгаре акта. Ни в чем, господа, человечество так не уподобляется животным, как в своей половой жизни. И я лично не нуждаюсь в сентиментальных излияниях даже самой красивой из гурий, которая впоследствии внезапно оказывается змеей, пауком или богомолем.

– Я еще не встречал ни одной такой! – заметил доктор Хандл.

– Это вовсе не значит, что вы не повстречаетесь с ней завтра, – ответил Бринкен. – Взгляните на анатомическую коллекцию любого из университетов. Там вы найдете самые невероятные комбинации атавистических уродств – даже и такие, до которых не смог бы додуматься обычный человек, если бы напряг всю свою фантазию. Вы найдете там целое животное царство в человеческом обличье. Многие из этих уродов проживают семь лет, двенадцать... порой и больше. Рождаются дети с заячьей губой, с расщепленным надвое небом, с клыками и пороссячьими рылами, дети с перепонками меж пальцев рук и ног, с лягушачьими ртами, головами или глазами, дети с рогами на голове, но не как у, скажем, козла, а с кожистыми, похожими на клещи жука-оленя. Вы можете повстречаться с этими чудовищными атавизмами на каждом шагу, и разве стоит удивляться тому, что отдельные черты того или иного животного могут быть повторены в человеческой психике? Когда кругом столь много подобных аномалий, разве же можно поражаться тому, что в некоторых человеческих душах ярко выражены звериные черты? Еще хорошо, что мы не встречаемся с ними *чаще*, к тому же люди не очень-то охотно говорят о таких вещах. Вы можете долгие годы близко знать с каким-нибудь благовидным семейством, не зная, что один из сыновей – полный кретин, упрятанный в соответствующее заведение.

– Согласен! – сказал Эрхард. – И все же вы не объяснили нам, почему имеете зуб на женщин. Скажите, кто был вашей... самкой богомола?

– Она, – сказал Бринкен, – каждое утро и каждый вечер молилась богу, даже склонив к тому меня. Не смейтесь, граф, все было так, как я говорю. Она каждое воскресенье два-

жды ходила в церковь и каждый день – в часовню. Три раза в неделю она навещала бедняков. Она... – Он вдруг прервался надолго, чуть разбавил виски в своем бокале, выпил – и только потом продолжил рассказ: – Тогда мне было всего восемнадцать, я заканчивал школу, и это были мои первые каникулы. Когда я учился в школе и в университете, моя мать всегда отправляла меня на отдохновение за границу: ей казалось, это сослужит добрую службу моему культурному уровню. Я проводил время в Англии, в Дувре, со своим учителем, дико скучая. Случайно я познакомился с сэром Оливером Бингхэмом, мужчиной лет сорока, и он пригласил меня погостить у него в Девоншире. Я сразу согласился, и через несколько дней был уже у него.

Замок Бингхэм, эта великолепная сельская резиденция, служил семейству вот уже более четырехсот лет. Был там большой и ухоженный парк с площадками для игры в гольф и теннисными кортами; через поместье протекала слабая речка с привязанными у берегов лодками. Две дюжины породистых лошадей для верховой езды дожидались наездников в конюшнях – все эти удобства были в распоряжении гостей. Тогда я впервые вкусил щедрое английское гостеприимство – и моя юношеская радость не знала конца и края.

Леди Синтия была второй женой сэра Оливера. Два его сына от первого брака уехали учиться в Итон. Я сразу понял, что она была его супругой лишь формально, ведь с сэром Оливером они жили порознь, как чужаки. В отношении друг друга они были вежливы до тошноты – и в этом, поверьте, не было принуждения, – но и только; их союз сберегала врожденная и с годами выпестованная способность к компромиссам.

Гораздо позже я понял, что сэр Оливер, прежде чем представить меня своей жене, намеревался предостеречь. Тогда я просто этого не заметил. Он сказал:

– Послушай, мальчик мой! Пойми, что леди Синтия... она... в общем, будь с ней поосторожнее! – Конечно, он не мог прямо изложить мне все свои опасения, и тогда я его не понял.

Сэр Оливер был старым английским помещиком, таким, какого вы можете найти в доброй сотне английских романов: Итон, Оксфорд, спорт и щепотка политики. Он находил удовольствие в сельской жизни, любил свое поместье и слыл крепким хозяйственником. В замке Бингхэм его обожали все без исключения: что мужчины, что женщины. Блондин с чуть смуглой кожей, крепкий телом и открытый духом, он отвечал взаимностью всем, кто его окружал, попутно навязывая свою бесхитростную любовь сельской закваски (особенно молоденьким служанкам, всем без разбору). Его похождения на стороне были настолько очевидны, что, казалось, одна только леди Синтия не замечала их.

Столь вопиющая неверность законной супруге просто убивала меня! Если на земле и была женщина, заслуживавшая слепой и всепоглощающей любви мужчины, то это была леди Синтия. Многочисленные измены сэра Оливера казались мне проявлением крайней вероломности и неумной животной натуры.

Ей было около двадцати семи лет. Если бы она жила в Риме или в Венеции во времена Ренессанса, сейчас ее портреты можно было бы увидеть во многих церквях. Я никогда не встречал другой женщины, которая была бы столь поразительна похожа на Богородицу. У нее были темно-золотистые волосы, разделенные посередине пробором, лик имел ясные, выверенные черты. Глубокие, точно море, глаза пленяли меня своим лазурным оттенком, а длинные и тонкие руки отличались такой белизной, что едва не просвечивались; ее шейка – ах, мне казалось, она вообще делала эту женщину неземной. Шаги были так легки, что их невозможно было услышать – казалось, она не ходит, как все, а плывет по воздуху. То, что я влюбился в нее без памяти, совершенно неудивительно.

Я написал дюжину сонетов на немецком и впоследствии – на английском. Вероятно, они были очень слабы, но если бы вы прочли их сейчас, то, думаю, смогли бы представить себе необыкновенную красоту леди Синтии, равно как и состояние моей души. И *такую* красавицу постоянно предавал сэр Оливер, не заботясь вовсе о скрытности? С неприязнью к этому мужчине я ничего не мог поделать. Он замечал мое предубеждение против себя, раз или два

пытался подступиться и поговорить со мной, но предложений к общению у нас с ним было не так уж и много.

Никогда я не видел, чтобы леди Синтия смеялась или плакала. Она была необычайно тихой и напоминала тень, беззвучно скользящую по коридорам замка и парка. Верхом она не ездила, в гольф не играла, спортом не интересовалась, не занимали ее и домашние дела – все хозяйство было предоставлено прислуге. Но, как я уже заметил, была она набожна до ужаса – регулярно ходила в церковь и посещала бедняков из трех деревень. Всякий раз, прежде чем сесть за стол, она произносила молитву. Каждое утро и каждый вечер она ходила в часовню замка, вставала на колени и молилась. Никогда не видел, чтоб она читала газету, и лишь несколько раз замечал у нее руках одну весьма определенную книгу. Правда, она много времени уделяла вышиванию – у нее выходили великолепные кружева и кайма. Иногда она садилась за рояль или играла на органе в часовне. Держа иглу в руках, она часто тихо напевала, и почти всегда это был какой-нибудь простенький народный мотив, вроде колыбельной. Лишь спустя много лет я понял, как это чудно – женщина, у которой никогда не было детей, обожала напевать колыбельные песни! Тогда эти проявления натуры не от мира сего меня даже очаровывали.

Наша взаимосвязь определилась с первого же дня; она была госпожой, я – ее верным пажом, влюбленным до боли, но держащим строгую, безупречную дистанцию. Время от времени я напрашивался почитать ей вслух что-нибудь из Вальтера Скотта. Леди Синтия сносила мое присутствие рядом с собой, когда играла на рояле или вышивала, и частенько пела для меня. В обед я обычно садился рядом с ней; так как сэр Оливер нередко покидал имение, мы оставались наедине не раз, и ее меланхоличность постепенно затронула и меня. Казалось, она о чем-то непрестанно грустила – и я почитал за долг разделять это чувство с ней.

Вечерами она вставала в окне своей комнаты в башне замка, и я любовался ею, сидя в парке. Несколько раз я навещал ее покои, но юношеская застенчивость не позволяла мне с нею заговорить. На цыпочках я спускался по лестнице обратно в сад, прятался за деревом и страстным взглядом созерцал ее окно из своего укрытия. Она подолгу стояла там – безо всякого движения; и даже если сплетала пальцы, даже если на лицо ее падала некая тень, задумчивые лазурные глаза так и оставались недвижимы. Казалось, леди Синтия ничего не видит перед собой, и взгляд ее рассеянно скользит над деревьями и кустами абсолютно без цели.

Однажды вечером я ужинал с ней. Мы долго беседовали, а потом пошли в комнату, где стоял рояль. Она поиграла для меня, но не музыка вызывала во мне трепет. Я смотрел на ее белые ладони, на ее пальцы, казавшиеся мне совершенными. Закончив играть, леди Синтия повернулась ко мне, и тогда, схватив ее ладонь, я стал целовать кончики ее пальцев. В этот момент вошел сэр Оливер. Леди Синтия, как обычно, вежливо пожелала ему доброй ночи и вышла.

Сэр Оливер, конечно, заметил мой поступок, увидел мои взволнованные глаза: взгляд мой, верно, буквально кричал о том, что у меня на душе. Он пару раз прошелся по зале широким шагом – очевидно, с трудом сдерживаясь, чтобы не бросить мне упрека, – после чего, подступив ко мне, хлопнул по плечу и сказал:

– Ради всего святого, мой мальчик, будь осторожен! Я еще раз говорю: нет; прошу, умоляю: осторожнее с ней. Ты...

В этот момент его супруга возвратилась забрать перстни, оставленные на крышке рояля. Сэр Оливер резко унял свою речь, крепко пожал мне руку, поклонился леди Синтии и вышел. Она приблизилась ко мне, один за другим нанизала перстни на пальцы и затем вдруг протянула мне руку для поцелуя. Она не сказала ни слова, но я точно почувствовал, что прозвучал безмолвный приказ.

Подавшись вперед, я покрыл ее ладони горячими лобзаниями. Леди Синтия долго не отводила рук, но затем высвободилась и покинула меня.

Я осознал, что ужасно нехорошо поступаю по отношению к сэру Оливеру, и был готов ему все рассказать. Мне показалось, что лучше всего сделать это в форме письма. Я пошел в свою комнату и, сев за стол, написал одно, два, три послания, одно глупее другого. В конце концов, я решился на прямой разговор с ним. Дабы не растерять задор, я поднялся наверх, минуя разом по две ступеньки, но перед распахнутой настежь дверью курительной вдруг остановился как вкопанный. Из комнаты раздавались голоса: первый принадлежал сэру Оливеру, весело и громко смеявшемуся, а второй – девушке.

– Но, сэр Оливер... – возражала против чего-то она.

– Ну-ну, не будь глупенькой, – смеялся он, – и не волнуйся так.

Я резко развернулся и сбежал по лестнице. Девичий голос принадлежал Миллисент, одной из наших горничных. Она была с ним.

Через два дня сэр Оливер отбыл по делам в Лондон, и мы с леди Синтией остались в замке Бингхэм одни.

На это время я оказался в стране чудес; в Эдеме, который создало Божество для меня одного. Трудно описать зачарованное состояние, в котором я пребывал. Я сам попробовал справиться с этой задачей в письме к матери; когда я навещал ее несколько месяцев назад, она показала мне это письмо, которое добросовестно сохранила. На конверте по-английски было написано: «Я очень счастлив!», а само письмо прямо-таки фонтанировало эмоциями: «*Liebe Mutter*, ты спрашиваешь, как я поживаю, что делаю? *Oh Mutter – oh Mutter, Mutter!*» Много раз – вот это: «*oh Mutter!*», и более ничего!

Конечно, в таком послании может быть сокрыта и сильная боль, и бездна отчаяния, и безумный восторг; проще говоря – очень сильное чувство!

Я запомнил вплоть до меток на часах то раннее утро, когда леди Синтия отправилась в часовню, располагавшуюся неподалеку от замка, у реки. Я нередко сопровождал ее в этих паломничествах, после чего мы отправлялись завтракать. Но в то утро она подала мне знак – и я понял его без лишних слов. Вслед за ней ступил я под своды часовни; она преклонила колени, и я сделал то же самое. Поначалу я лишь смотрел на нее, но постепенно выучил все молитвенные слова. Только подумайте, господа: я, студент-немец, атеист, каковым мне и положено быть, – молюсь! Не ведаю, кому или чему слал я свои молитвы; это было что-то вроде благодарности небу за счастье видеть эту женщину – пополам со словами томления, чей смысл сводился лишь к одному: я плотски желал ее.

Много времени я посвящал верховой езде – разгоряченная кровь требовала отвода пыли. Однажды, выехав довольно рано, я заблудился и провел в седле не один час. Когда я в конце концов выбрал к замку, грянула ужасная гроза, небесные хляби разверзлись – даже деревянный мостик захлестнуло покинувшей свое русло рекой. Чтобы добраться до второго моста, каменного, пришлось бы сделать изрядный крюк; но я и так промок с ног до головы, так что, не задумываясь, взялся форсировать стремительный поток. Однако я значительно переоценил силу своей измотанной кобылы – река снесла нас вниз на немалое расстояние, так что дорога от реки до замка заняла у меня солидное время.

Леди Синтия уже ждала меня в гостиной, поэтому я поспешил принять ванну и переодеться. Вероятно, я показался ей уставшим – во всяком случае, она настояла на том, чтобы я прилег на диван. Сев рядом со мной, она стала гладить мой лоб и убаюкивающим голосом напевать:

На суку в старой люльке малыш мой живет,  
Когда ветер подует, то люльку качнет,  
Когда сук слабый треснет, то все пропадет:  
И малыш мой, и люлька, и ворох забот!

Меня не смутила эта двусмысленность колыбельной – ощущая кожей лба кончики ее пальцев, я был на седьмом небе от блаженства. Увы, в конце концов мой сук взаправду обломился, господа, и со своим ворохом забот я упал, причем весьма неудачно.

Леди Синтия всегда позволяла мне целовать ее руки – но только лишь руки! Мысль о том, чтобы запечатлеть поцелуй где-то еще, повергала меня в сладкую дрожь, а о губах ее я и желать не смел. Я никогда не говорил ей о том, что чувствую, но мои глаза предлагали ей сердце и душу – все, что у меня только было, – в любой день и час. Она принимала это скромное подношение и в ответ лишь протягивала запястье.

Иногда поздними вечерами, когда я бдел неподалеку и мое томление по ней яростно искало выход – и не находило его, – она вставала, уходя, и тихо наставляла:

– Лучше сходите покатайтесь верхом.

Она шла в свою комнату в башне, не замечая, как я тихо следую за ней, брала в руки маленькую книжицу в парчовом переплете, несколько минут читала ее, а потом вставала, подходила к окну и вглядывалась во мрак. Я же шел в конюшню, седлал лошадь и направлял ее через парк в поля. Там, в сумерках, я и гонял бедное животное до пены, а по возвращении принимал холодную ванну и ложился немного отдохнуть перед ужином.

Как-то раз я отправился на подобный «выпас» несколько раньше обычного и в замок вернулся как раз ко времени чаепития. Идя принять ванну, я столкнулся с леди Синтией.

– Когда закончите, – сказала она, – приходите, в башне вас ждет чай.

На мне было только кимоно.

– Мне нужно сперва одеться, – ответил я.

– Приходите так.

Я забрался в ванну, пустил воду и, управившись за считанные минуты, уже вскоре шагал в сторону ее покоев. Леди Синтия сидела на диване с уже знакомой книжицей в руке – ее она отложила в сторону, когда я вошел. Она, как и я, была в халате – в чудесном кимоно пурпурного цвета, расшитом изумрудно-золотыми цветами. Она налила мне чаю и намазала маслом тосты, ни слова не говоря. Я сжевал подношение, чуть не подавившись, и залпом выпил горячий чай, ощущая, как весь трясусь, прямо-таки хожу ходуном. И вот из глаз моих брызнули слезы. Я опустил на пол, взял ее за руки и прижался головой к ее коленям. Она не стала отстранять меня.

Наконец леди Синтия встала:

– Можете делать со мной все, что хотите, но вы не должны говорить ни слова. Ни слова, слышите, ни единого словечка!

Я не понял, что она имела в виду, но поднялся и кивнул. Она медленно подступила к узкому окну. Я не мог взять в толк, что мне делать, и в конце концов молча приблизился к ней.

Я стоял в нерешительности, не шевелясь и не говоря, слушая ее легкое дыхание. Кое-как набравшись смелости, я подался вперед и коснулся губами шеи. Коснулся легонько – так бабочка проходит крылом; но по всему телу леди Синтии прошла легкая дрожь – она меня почувствовала. Тогда я начал целовать ее плечи, ароматные волосы, ушные раковины изысканной лепки – нежно, мягко, трепетно, еле касаясь губами и не переставая смущаться, как юнец. Наши пальцы сплелись. С ее губ сорвался вздох и растворился в вечернем воздухе. У меня перед глазами стояли высокие деревья, я слышал пение позднего соловья.

Я закрыл глаза. Наши тела не разделяло ничего, кроме пары легковесных шелковых накидок. Я глубоко вздохнул – и услышал, как она дышит. Мое тело дрожало до самых пальцев ног, и я почувствовал, как и сама леди Синтия трепещет в моих руках.

Теперь мы оба дышали хрипло, прерывисто; от ее тела исходил буквально осязаемый жар. Она схватила меня за руки, прижала мои ладони к своей груди.

И тогда я обхватил ее обеими руками, крепко притянул к себе. Я крепко держал ее – не знаю, как долго...

Наконец нас разняло. Она, чуть не падая, безвольной куклой повисла у меня на руках, но потом встрепенулась.

– Иди, – тихо сказала она.

Я не смел ослушаться этого приказа. Отпустив ее, я на цыпочках удалился прочь.

В тот вечер я больше не видел ее; на ночной трапезе я присутствовал один.

Что-то важное произошло... но я не мог дать этому имя. Я был тогда очень глуп.

На другое утро я ждал ее у часовни. Леди Синтия кивнула мне, входя внутрь. Она опустилась на колени и молилась, как и в любое утро.

Через несколько дней она сказала:

– Приходи сегодня вечером.

Это приглашение я услышал от нее еще не раз. И она никогда не забывала добавить:

– Ни слова ты не должен говорить, ни слова!

Я в свои восемнадцать был глуп и неопытен, леди Синтия – умна и сведуща; она все устраивала именно так, как ей хотелось. Ни слова не срывалось с ее губ, печать молчания легла и на мои уста – разговаривали только наши тела, полные крови.

И вот настал день, когда вернулся сэра Оливер. Мы сидели за ужином, леди Синтия и я; я услышал в холле голос сэра Оливера. Я опустил вилку – мне кажется, я стал бледнее дамасской скатерти. Не страх я испытал – ни намек на это чувство не было. Но за это время я совершенно забыл, что этот человек – этот сэра Оливер – все еще существовал!

В тот вечер он пребывал в хорошем расположении духа. Конечно, он заметил мое смущение, но ничуть не изменился в поведении. Он ел, пил и беззаботно болтал о Лондоне, рассказывая о всяких тамошних театральных представлениях и скачках.

После ужина он извинился, похлопал меня по плечу и, как всегда, вежливо пожелал своей жене спокойной ночи. За этим последовала небольшая пауза – он явно хотел узнать, как поведу себя я. А я ведь совершенно не знал, как быть, так что, сославшись невнятно на усталость, поцеловал руку леди Синтии и вышел. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз – меня преследовала мысль, что сэра Оливер обязательно явится разбираться со мной. Каждый шаг, каждый отзвук в стенах замка настораживал меня, но расплата все никак не приходила. И тогда, раздевшись, я лег в постель, погрузившись в тяжелые думы о том, что произошло за время его отсутствия и чем дело обернется в дальнейшем.

Одно казалось ясным – надо открыться перед ним и предоставить ему решить мою судьбу. Но к чему это приведет? Я знал, что дуэли в Англии уже не практикуются и что сэра Оливер попросту поднимет меня на смех, ежели я хотя бы заикнусь о таком виде решения проблемы. А что еще остается? Не в суд же нам с ним идти – да и какой суд способен столь деликатную проблему решить так, чтобы стороны удовлетворились? Боксерский раунд стал бы выходом, но сэра Оливер был мужчиной крупнее, шире в плечах и удалее меня, являясь одним из самых успешных непрофессиональных боксеров во всей Англии; он не принял бы мой вызов, ибо я, не имеющий ни малейшей подготовки в этом виде спорта, ему, очевидно, не ровня. Смешно думать – той малости, которую я знал, он обучил меня сам! Тем не менее я *должен* был предоставить ему шанс поквитаться со мной; чему быть дальше – того уж не миновать.

Но какая судьба после всего ждет леди Синтию? Меня он пусть хоть четвергует, но с нею, с милой святой женщиной... что с нею будет? Вся ответственность за случившееся лежала на мне одном, и я знал это с самого начала. Сэра Оливер пригласил меня в свой дом, он был щедр и великодушен по отношению ко мне, а что я? Влюбился в его жену безоглядно – ходил за нею по пятам, навязывал свое общество, подкарауливал. Не удовлетворяясь тем, что она препоручала

моим губам свои белые ангельские персты, я хотел получить у нее все больше и больше, моя страсть становилась сильнее и сильнее, и вот наконец...

Да, я не упрасивал ее ни о чем на словах, но разве моя кровь не кричала ежеминутно о любви к ней? Зачем слова, когда сиял мой взгляд, когда тело мое трепетало от одного ее вида? Ее, грубо отвергнутую мужем, предавали и унижали каждый день у меня на глазах, а она страдала и переносила эти муки, как святая – о, нет, на ней не было и тени вины! Чудом она поддалась искушению, которое приготовил для нее молодой ловелас, не отступавший ни на шаг, но даже так, даже так она оставалась святой! Она пошла на измену скорее из собственного великодушия, из жалости к юнцу, которого снедала похоть. Она отдалась мне подобно той милостыне, какой одаривала бедняков, навещаемых в близлежащих селениях; и вопреки всему этому осталась целомудренной. И она так стыдилась всего случившегося, что запрещала мне разговаривать с ней в минуты близости – ни разу даже не повернула ко мне головы, не заглянула в мои глаза...

Наконец все стало предельно ясно: на мне одном – полная тяжесть вины. Это я здесь – соблазнитель, угодник чужих жен.

И чем мне теперь увенчать это дело – должен ли я предстать перед сэром Оливером, сказать ему?..

Нет, этого не выйдет!

Но что-то стоило решить.

Я не знал что. Пролетела ночь – верный выход из ситуации не открылся мне.

Завтракал я у себя в комнате. Пришел дворецкий с приглашением от сэра Оливера сыграть в гольф. Одевшись, я спустился вниз и вышел на улицу. Гольф всегда давался мне непросто, но в этот раз и вовсе не удавалось попасть по мячу – я лишь выбивал клюшкой почву из земли под ногами, а сэр Оливер беззлобно потешался надо мной.

– Что на вас нашло, мой мальчик? – спросил он в какой-то момент.

Я ответил неким невнятным образом. Один неудачный удар следовал за другим, и мой хозяин вдруг сделался необычайно серьезным. Подойдя ко мне вплотную, он спросил:

– Скажите... неужели она... приняла вас там, у своего окна?

Его прямога оказалась убийственной – ровно с тем же успехом он мог рубануть меня мечом. Я разжал пальцы, выпустил клюшку – и кивнул. Бесцветное «да» слетело у меня с губ следом.

Сэр Оливер присвистнул. Надумав что-то мне сказать, он тут же придержал слово. Свистнув еще раз, он развернулся и медленно зашагал к замку. Я понуро ступал за ним в отдалении.

В то утро я не видел леди Синтию. Когда раздался звонок, приглашавший к ланчу, я заставил себя спуститься вниз. По пути я столкнулся с сэром Оливером – подойдя ко мне, он произнес:

– Не хочу, чтобы вы разговаривали сегодня с леди Синтией наедине.

После этих слов он жестом пригласил меня войти.

За трапезой я почти не разговаривал с ней – беседу направлял и вел хозяин. После ланча леди Синтия приказала подать экипаж: она ехала давать милостыню беднякам. Я по обыкновению поцеловал ее руку и услышал привычное:

– Чай в пять часов.

Вернулась она не раньше шести; я стоял у окна в своей комнате, когда подъехала ее карета. Она бросила на меня снизу вверх приглашающий взгляд. Когда я вышел из покоев, за порогом меня уже ждал сэр Оливер.

– Она вернулась? – спросил он. – Прекрасно. У нас сейчас будет чай втроем.

*Сейчас что-то будет*, подумалось мне.

На столике стояло лишь две чашки – очевидно, леди Синтия ждала одного меня. То, что на пару со мной явился и сэр Оливер, слегка застало ее врасплох, но она тут же послала

дворецкого за еще одной чашкой. Он попытался разговорить ее, как за ланчем, на сей раз – без толку. В итоге повисла тягостная тишина.

Встав, леди Синтия покинула комнату. Ее муж остался сидеть и тихо насвистывать через зубы. Вдруг он прямо-таки подскочил, будто в голову ему пришла некая неожиданная догадка.

– Никуда не уходите! – воскликнул он и выбежал.

Мне не пришлось долго ждать: через считанные минуты он возвратился и жестом пригласил следовать за ним. Мы прошли через несколько покоев, пока не добрались до той самой кельи в башне. Чуть сдвинув портьеру, занавешивавшую проход, сэр Оливер глянул внутрь. Кивнув сам себе, он повернулся и сказал:

– Возьмите ту книгу, что лежит на табуретке.

Я юркнул за занавесь – у окна, не обращая на меня внимания, застыла леди Синтия. Я чувствовал, что совершаю по отношению к ней предательство, но никак не мог уразуметь, в чем именно оно заключалось. Тихо подкравшись к табуретке, я взял книжицу в парчовом переплете, которую так часто видел у нее в руках. Очутившись снова за порогом, я передал добытое сэру Оливеру. Тронув меня за руку, он прошептал:

– Уходим, мой мальчик!

Я последовал за ним – вниз по ступенькам – через двор в парк. Стиснув книжицу, он схватил меня за руку и начал:

– Вы думаете, что влюблены, мой мальчик? В эту ее святость и кротость – безумно, без памяти? Можете не отвечать – ни к чему это. Ведь я тоже был влюблен – стократ сильнее вас, хоть и был тогда вдвойне старше, уже зрелым мужчиной, пожившим в браке. Но ради вашего же блага...

Он замолчал, повел меня по аллее и потом свернул налево, на небольшую тропинку. Под старыми вязами нас дожидалась скамейка. Он присел на нее и указал мне сесть рядом с ним, потом поднял руку и указал вверх:

– Поглядите! Вон она стоит.

Я проследил взглядом. Силуэт леди Синтии вырисовывался в обрамлении окна.

– Нас ведь заметят, – предупредил я, и сэр Оливер громко рассмеялся:

– Вовсе нет. Даже если бы здесь сидела целая сотня людей, она бы ничего не увидела и не услышала! А что у нее *на самом деле* перед глазами... о! – Сильной своей рукой сэр Оливер стиснул книжицу, будто то была гадина, которую надобно было раздавить. – Знаю, жестоко показывать это вам, мой глупый молодой друг, очень жестоко. Но вы когда-нибудь будете благодарны мне. Откройте же, читайте!

Я раскрыл книжицу. В ней оказалось всего несколько страничек из плотной бумаги для рукописей. Собственно, текст был не отпечатан, а выведен от руки, и я сразу признал почерк леди Синтии.

В книге той я прочел:

О казни Роберта-Франсуа Дамьена на площади Грев в Париже 28 мая  
1757 года, по свидетельству очевидца герцога де Круа

Буквы расплылись у меня перед глазами. И какое отношение это имело к женщине, стоявшей у окна? Я не мог разобрать и слова. Книга выпала у меня из рук; сэр Оливер тогда поднял ее и стал читать громким голосом:

– По свидетельству очевидца герцога де Круа, Робер Дамьен, который 5 января 1757 года, Версаль, совершил покушение на жизнь его августейшего величества короля Франции Людовика XV и нанес ему кинжалом рану в левый бок...

Я встал, повинувшись необъяснимому порыву. Мне захотелось умчаться, спрятаться, как раненому зверю, в густом кустарнике, но сильная рука сэра Оливера поймала меня и оттянула назад к скамейке. Его голос продолжал неумолимо озвучивать:

– ...был приговорен к казни в день 28 мая 1757 года. Аналогичный приговор в свое время вынесли убийце короля Генриха IV Франсуа Равальяку 17 мая 1610 года. Дамьена сначала пытали утром в день казни; грудь, руки, бедра и икры ему разрывали раскаленными щипцами, а в раны вливали расплавленный свинец, кипящее масло и смолу, перемешанную с воском и серой. В три часа дня Дамьена, который отличался отменным телосложением, доставили в собор Нотр-Дам, а оттуда – на площадь Грев. Улицы всюду были заполнены толпами людей, но они почему-то не высказывались ни за, ни против преступника. Во всех окнах виднелась плотно стоящая светская знать, празднично одетая и украшенная: элегантные джентльмены знатных родов и дамы, игравшие с веерами и державшие флаконы с мускусом на случай обморока. В половине пятого вечера началось грандиозное зрелище. На середине площади был воздвигнут подиум из досок, сюда привезли Дамьена. С ним туда поднялись палач и два исповедника. Этот огромный человек не выказывал ни удивления, ни страха, только выражал желание поскорее умереть. Шесть помощников палача привязали его торс железными цепями и веригами к доскам с вбитыми кольцами, да так, что он больше не мог двигать телом. Они схватили его правую руку и стали лить на нее горячую серу, слушая, как заходится приговоренный в зверином вопле. Тем временем подготовили второй этап пытки – раскалили клещи. Этими клещами начали вырывать из разных мест тела – сосцов, рук, бедер и икр – куски мяса, а затем лить в раны адское варево из расплавленного свинца, серы и кипящего масла... Дамьен с глазами навыкате и дыбом вставшими волосами кривым от мучений ртом подстрекал своих губителей. Его плоть лопалась при соприкосновении с воспламенявшимися жидкостями, его крик сливался с этим звуком, и страдалец произносил уже совсем нечеловеческим голосом: «Еще! Еще! Еще!» – а воздух на площади был уже совсем отравлен угарным духом.

Но то были лишь приготовления к истинной казни. Для третьего этапа подготовили четверку лошадей, привязав к каждой по одной из конечностей Дамьена. Лошадей начали стегать, и они рванулись в разные стороны. Рывок следовал за рывком, руки и ноги Дамьена все сильнее вытягивались, он хрипел, одна лошадь упала, а в толпе пошел недовольный ропот. Так продолжалось целый час, по истечении которого немало свидетелей лишилось всяческих чувств. Присутствовавший на казни врач поспешил доложить о неурядице такого рода судьям, и те приняли решение ускорить казнь, произведя некоторые надрезы в местах сочленений, чтобы облегчить лошадям их труд. Дамьен приподнял голову, чтобы получше разглядеть, что с ним проделывают, однако не издал ни звука, пока ему резали сухожилия. Он только повернул голову и дважды поцеловал протянутое распятие, пока оба священника призывали его покаяться. После этого лошадей снова стали хлестать кнутами, в результате чего через полтора часа после начала пыток удалось оторвать Дамьену левую ногу. Люди на площади и сидевшие перед окнами аристократы заплодировали. Вслед за этим была оторвана правая нога. Дамьен продолжал истошно вопить. Палачи надрубили и плечевые суставы и вновь принялись бичевать лошадей. Когда от тела оторвалась правая рука, крики осужденного стали затихать. Голова его завалилась вбок, запрокинулась в спазме – и тогда, в конце концов, была отделена рука левая. На помосте осталось лежать кровавое тулово с полностью поседевшими волосами, но даже в таком изуродованном обрубке еще как-то теплилась жизнь.

С головы Дамьена остригли волосы и собрали вместе все его конечности. К нему опять подошли церковники. Но господин Анри Самсон, палач, удержал их, сообщив им, что Дамьен только что испустил последний вздох. Таким образом, верующему преступнику было дано последнее утешительное слово. Ибо палач Самсон все еще видел, как туловище Дамьена поворачивается взад-вперед, видел, как его нижняя челюсть двигается в попытке произвести речь. Четвертованный все еще дышал, его глаза скользили по толпе.

В таком виде его возложили на костер. Пепел был развеян по ветру.

Таким был конец несчастного, перенесшего самые страшные мучения, какие только существовали на земле, и произошло это в Париже на моих глазах, как и на глазах многих тысяч людей, включая самых красивых и благородных женщин Франции, стоявших у окон.

С содроганием посмотрел я на стоявшую в окне леди, и вдруг ясно понял – каждый вечер упивалась она видом изуродованного тела; сладкой музыкой звучали в ее ушах вопли несчастного, а день был всего лишь прелюдией к этому зрелищу, проносившемуся перед ее мысленным взором и захватившему все ее существо. Так будет продолжаться всегда...

...и разве удивительно, господа, – заключил Бринкен, – что с того вечера испытываю я некоторый страх перед женщинами, у которых есть чувства, дух, развитая фантазия... а особенно перед англичанками?

## Дело Ларса Петерсена

*Хвала материнской церкви, милостивой и ласковой, что семь грехов искупила семью способами...*  
*Одон Ключийский*

Его Честь судья Генри Тафт Мак Гуфф разворошил дело Петерсена и придал его широкой огласке. Так он надеялся повлиять на рассматриваемый в сенате иммиграционный законопроект. Он поддерживал идею появления закона о том, что число иммигрантов, увеличивающееся каждый год после войны, должно ограничиться тремя процентами от средней плотности населения. Такая позиция Его Чести была вполне объяснима – до него место судьи в нижнем Нью-Йорке едва ли занимал хоть один коренной американец. Судье Мак Гуффу казалось, что в его огромном городе для истинного американца просто не осталось места. Все здесь теперь было только для евреев, ирландцев, немцев, итальянцев и еще десятка других рас, о которых он и не слышал и названия которых он затруднялся произнести, равно как и имена обвиняемых со свидетелями. Ему также казалось, что в эту расовую смесь попали лишь худшие представители своих наций, что Нью-Йорк напоминает теперь огромное помойное ведро, до краев наполненное гнилыми отбросами, исторгнутыми миром. Он считал себя призванным доказать это всей стране. Судья Мак Гуфф был известен всем газетам своими категоричными мерами наказания, которые в значительной мере превосходили и без того немилосердный суд страны. Поскольку долгие годы ему приходилось судить преступников исключительно среди иммигрантов, то наконец он пришел к твердому убеждению, что буквально каждого иммигранта нужно арестовывать, как только он спустится с парохода, и сразу же отправлять в исправительную тюрьму. Во время травли немцев ни один суд не был настолько суров, как суд Мак Гуффа, которому было достаточно одного факта, что подсудимый родился в Берлине или в Кёльне, чтобы в глазах судьи он непременно превратился в опасного шпиона, заговорщика кайзера, который взрывал мосты и фабрики. Таких еще называли гончими кайзера.

Два года спустя с таким же пылом Его Честь Мак Гуфф работал против большевизма. Разумеется, он точно не знал, что это такое, но он и не хотел знать! В то же время он знал, что хороший судья – это еще и хороший политик, который всегда чувствует, откуда дует ветер. И в этой стране он дул против большевизма и всего, что с ним связано. Он не слишком углублялся в детали, он просто, как и другие судьи, репортеры и политики, твердо выступал против коммунистов, синдикалистов, социалистов, радикалов, либералов и прочей рвани. Все они были просто помоями, на различия которых не стоило тратить время. Радовало то, что эти мерзавцы не видели дальше своего носа и посему действовали только по указке. Для судьи Мак Гуффа, как и для многих других, человеку было достаточно просто быть русским, чтобы его считали большевиком. Очень скоро он пришел к заключению, что в определенных людях преступные наклонности заложены изначально. К таким людям относятся венгры, итальянцы и особенно евреи. На каждом из этих несчастных в глазах судьи стояло клеймо «красный», и едва ли хоть одному из сотни удавалось в дальнейшем очиститься от этого. Но вот то, что ирландец, такой как предводитель рабочего движения Джим Ларкинс, тоже может быть «красным», совершенно не приходила ему в голову; и все немцы были для него всего лишь дикими приспешниками кайзера, и в этом он был настолько уверен, что не смог бы представить себе и одного немца «красным». Судья Мак Гуфф упрятал в тюрьму десятки безобидных немцев в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, так как они были «против власти народа», но при этом он засудил втрое больше безобидных русских, евреев и итальянцев, потому что они были «за власть народа». Он никогда не задумывался о том, что противоречил сам себе, лишь ощущал, что работал на Америку, которую он должен был освободить от этой иноземной чумы любым

способом. Поэтому каждый вынесенный приговор приносил ему чувство глубокого удовлетворения.

Как истинный янки, он жил с твердым убеждением, что его страна – это единственная страна, в которой могли жить люди, за исключением Англии. Все остальные страны в его глазах представляли собой грязный, зловонный хлев. Тюрьмы, куда помещались его подследственные, казались ему даже слишком хорошими для этих сукиных детей, потому он делал все от него зависящее, чтобы отравить им время пребывания там еще больше. Вот почему дело Петерсена вызвало у него вполне оправданный восторг. Судья Мак Гуфф дал распоряжение, чтобы учителю музыки Ларсу Петерсену предоставили всевозможные поблажки. Профессора в тюрьме ни разу не избивали, он получил лучшую камеру (которая, однако, кишела клопами, блохами и тараканами, как все остальные); одеяло, которое ему выдали, было даже местами чистым. Он имел право время от времени покупать себе что-то из еды на собственные деньги, а по распоряжению врача ему даже разрешили иметь собственную зубную щетку. Судье не пришлось прибегать к дружеским полицейским дубинкам, чтобы выбить признание из этого преступника: он сам признался во всем с самого начала. Напротив, для Мак Гуффа было крайне важно, чтобы старик, который явно не был достаточно крепким, предстал перед судом относительно здоровым.

Ларс Петерсен был родом из Ютландии, что для Его Чести звучало подозрительно по-немецки. Сам подследственный утверждал, что он датчанин, однако не опровергал, что частично в нем может быть и немецкая кровь. Кроме того, судья Мак Гуфф помнил, что уже дважды засудил немцев, носивших фамилию Петерсен. По старой привычке он спросил подсудимого, водил ли тот личное знакомство с кайзером или кронпринцем, но, как только последний ответил отрицательно, сразу же забыл об этом. Отлов немцев в политических целях уже два года как вышел из моды. Он был вполне доволен тем, что обвиняемый признал, что три года обучался музыке в Германии. Судья был чрезвычайно рад заполучить это дело прямо сейчас, во время яростной охоты против всего «красного», будь оно еврейского, русского или итальянского происхождения. Ведь именно на этом примере он мог продемонстрировать широкой публике, как важен вопрос переселения немцев, когда немецкий (или квазинемецкий) профессор музыки, известный всему миру, может вместе с блестящим образованием обладать и гнилой душой.

Конечно же, Ларс Петерсен стал известен как «уважаемый и выдающийся профессор музыки» благодаря превосходной рекламе со стороны судьи, когда Петерсен уже находился в предварительном заключении. До этого он был самым обычным учителем, который снимал комнатку на Одиннадцатой улице на востоке и едва сводил концы с концами на пятьдесят центов, которые зарабатывал за несколько часов занятий в день. Конечно, по европейским меркам его образование было весьма скромным, однако оно значительно превышало уровень образованности среднестатистического американца, поэтому все, что судья Мак Гуфф высказывал о способностях этого человека, казалось вполне достоверным. В ходе предварительного следствия учитель музыки время от времени позволял себе философские высказывания о морали, этике и эстетике, в которых судья не понимал ни слова. Поэтому они казались ему довольно подозрительными.

Процесс был тщательно продуман во всех направлениях. Подсудимый долгое время непоколебимо отказывался от защиты на том простом основании, что у него просто не было на это средств. В конечном счете сам судья Мак Гуфф, ввиду того, что процесс без защиты казался ему неполным, распорядился, чтобы подсудимому назначили защиту бесплатно. Безусловно, найти желающего на эту роль не составило труда. Ведь дело обещало получить широкую огласку, а значит, сделать защитника знаменитым. Был один скромный еврей, проживающий в восточной части города, Сэм Хиршбайн, – судья узнал о нем сразу, как приступил к своим обязанностям. Работа адвоката ему была явно не по плечу, во всяком случае, если гово-

речь о том типе адвоката, который был нужен этой стране. Но именно поэтому Сэм Хиршбайн показался судье в данном случае наилучшей кандидатурой. Хиршбайн был дискредитирован из-за того, что в ряде процессов защищал немцев, русских и евреев, более того, призывал мыслить радикально или по крайней мере либерально. Поэтому для Мак Гуффа было особым удовольствием привлечь именно Хиршбайна к этому делу. Его крайне раздражали высказывания адвоката. Он всегда пытался привнести в дело нечто психологическое, о чем судья Мак Гуфф не имел ни малейшего представления. Сэм Хиршбайн принимал дела близко к сердцу, ради своих клиентов он сражался изо всех сил, нервничал, терял над собой контроль, чем давал судье превосходную возможность продемонстрировать всю силу своего высокого положения. Неоднократно судья так ловко осаждал адвоката, что все присутствующие в зале суда просто взрывались от хохота. В этом и была великая сила судьи Мак Гуффа – вставлять меткую шутку при каждой удобной возможности.

Не было сомнений: в спектакле имени Ларса Петерсена Сэм Хиршбайн отыграл бы свою роль блестяще.

Процесс был запланирован на среду, на десять часов утра. Места для репортеров были полностью заняты, и Его Честь необычайно радовало то, что это дело вызывает такой интерес у публики. Стать зрителем этого слушания можно было только по специальному приглашению от судьи, и благодаря превосходной рекламе жители Нью-Йорка прикладывали все усилия, чтобы получить его. Судья Мак Гуфф испытал чувство глубокого удовлетворения, когда ознакомился со списком присутствующих, чтобы уже передать его репортерам. По крайней мере тридцать имен непременно должны быть упомянуты в газетах как слушатели этого дела. А для каких-то редакций можно даже удвоить это количество. Среди этих имен были дамы из высшего общества и политические деятели первого порядка. Также он насчитал в этом списке не меньше пяти проповедников, и даже из мира театра нашлось немало желающих попасть на это представление.

Судья Мак Гуфф начал свою речь перед присяжными заседателями с таким напыщенным видом, как будто разбиралось дело об убийстве. Он обратился к публике, заверяя ее в том, что его главный интерес – бороться за правосудие и высокую мораль, призывая воздерживаться от скоропалительных комментариев, и продолжил парой слов о том, что город превращается в болото, отравленное чумой иммигрантов. Подытожил он ссылкой на законопроект, рассматриваемый конгрессом и сенатом в Вашингтоне, и выразил надежду о скором вступлении одного в силу. Он пересказал миф о короле Авгии и его знаменитых конюшнях, который он перечитывал накануне вечером, и пришел к выводу, что и самому Гераклу не удалось бы их вычислить, если бы туда продолжали забегать все новые свиньи. И этому как раз должно помешать современное правительство, а уж он, новый Геракл, позаботится обо всем остальном! Он с удовлетворением отметил, что репортеры усердно стенографировали: каждое его слово будет отражено в вечернем выпуске.

Но в то же время при опросе свидетелей он испытывал разочарование. Главная свидетельница и жертва старого сластолюбца Ларса Петерсена, двенадцатилетняя Юстина ван Штраатен, так и не явилась. Судья тотчас отправил поверенного к матроне детского суда, которой доверили попечение над пострадавшей. Затем он начал допрос.

К его удивлению, подсудимый, отвечая на вопросы, отклонял любые замечания по данному делу. Тогда защитник поднялся со своего места и объяснил, что подсудимый ведет себя так по его совету. Судья Мак Гуфф пришел в ярость и твердо вознамерился сломить сопротивление старика. Он хотел, чтобы подсудимый ответил на вопрос прокурора, намерен ли он опровергнуть показания, данные во время предварительного следствия, прежде чем его защитник успеет вставить слово. Только так его злость немного утихла. Он пояснил, что, безусловно, у каждого обвиняемого есть право отказаться от своих прежних показаний и что данное право несомненно гарантируется американским судом. Таким образом он не будет задавать

ему вопросы касательно самого дела, и тем не менее попросит его ради его же собственных интересов ответить на пару других вопросов. Он выудил из своих документов листок, подготовленный с особым тщанием и содержащий множество имен, и начал задавать вопросы, на которые в данном случае обвиняемый охотно отвечал.

- Вы предпочитаете играть Моцарта или Бетховена?
- Как вы относитесь к философии Букле?
- Вы когда-нибудь писали что-то сами? Возможно, музыку к сонету Шекспира?
- Или песню на стихи Бёрнса?
- Нравится ли вам Данте?
- Что думаете о Спенсере, о Канте?
- Вы когда-нибудь задумывались о категорическом императиве?

Так продолжалось на протяжении получаса, практически на одном дыхании. Лишь изредка наступала короткая пауза, когда обвиняемый просто не мог разобраться, что говорит судья. Потребовалось некоторое время, чтобы стало понятно, что под «Найцэ» понимается Ницше, а под «Тоостым», которого Его Честь вообще считал французом, Лев Толстой. С помощью этого упражнения судья намеревался продемонстрировать исключительную образованность и начитанность преподавателя музыки, в то же время выставив и себя в выгодном интеллектуальном свете. Цель была достигнута безоговорочно. Столы газетных редакций будут ломиться от репортажей с громкими заголовками в духе: «Отправлять ли за решетку Уолта Уитмена от мира музыки?», ну или «Спинозу считают немзыкальным». Такое никто просто не мог пропустить, но самый главный козырь Мак Гуффу должна была обеспечить статья в провинциальной прессе под заголовком «Концерт в зале суда».

Он подмигнул судебному приставу, и тот вытащил из-под стола скрипичный футляр профессора, открыл его и передал обвиняемому скрипку и смычок. Судья Мак Гуфф постоянно отказывал ему в просьбе дать возможность хотя бы один час поиграть на любимом инструменте во время заключения. И теперь, когда он снова коснулся своей скрипки, руки старика задрожали. Судья был так уверен в своем успехе, что получасом ранее даже попросил настроить скрипку, прежде чем принести ее в зал суда. Он пригласил обвиняемого сыграть на ней, объясняя столь странное желание тем, что для вынесения объективного приговора необходимо услышать именно ту мелодию, которую обвиняемый исполнял перед своей жертвой.

– Прошу вас, Петерсен, сыграйте, – торжественно провозгласил он. – Возможно, это ваш последний раз.

Сэм Хиршбайн подскочил со своего места – он явно намеревался выразить протест. Но было совершенно очевидно, что старый учитель просто трепетал от звука своей скрипки, поэтому Хиршбайн снова сел, не произнеся ни слова. *He vo вред*, подумал он.

А Ларс Петерсен заиграл. Это никоим образом не было гениальным исполнением, не тянуло даже на обычное концертное выступление. Но ведь это и не был концертный зал. Здесь он стоял перед глазающей публикой, которая собралась исключительно для того, чтобы посмотреть, как гнусный развратник будет на долгие годы отправлен на каторгу. И он должен был играть именно ту музыку, которой сбил с толку свою несчастную жертву. Конечно же это была настоящая сенсация.

Ларс Петерсен играл. Сперва его пальцы так дрожали, что он едва ли мог коснуться струн. Но постепенно он успокоился и стал увереннее, закрыл глаза и забыл обо всем, что его окружало. Он ощущал теперь нечто прекрасное – и старался передать это музыкой.

Тем временем Мак Гуфф, далекий от музыки настолько, что не отличил бы звучание скрипки от трубы, чутко следил за реакцией публики. Чувствуя глубокое удовлетворение, он отметил, что в разных уголках зала зрители начали вынимать шелковые платочки, а некоторые актрисы уронили головы на ладони, с одной стороны доносилось едва слышное всхлипывание, а с другой уже отчетливо раздавались громкие рыдания. Он не прерывал старика – пусть теперь

поиграет от души. Это действие должно было полностью захватить публику и дать возможность газетчикам спокойно делать свои пометки.

Наконец он попросил старика убрать скрипку.

– Что вы сыграли? – спросил он.

– Баха, – прошептал старик. – Бетховена.

– Ну конечно! – восторжествовал судья. – Из всех композиторов вы выбрали именно этих немецких свиней! Такая пошлая музыка только для того и годится, чтобы соблазнять одиннадцатилетних девочек!

Но профессор Петерсен, как показал допрос свидетелей, никого не соблазнял – ни этой музыкой, ни любой иной. Это обстоятельство, как и предвидел Мак Гуфф, репортерам было совершенно безразлично – их занимали только кричащие заголовки: «Невинное дитя портят Бах и Бетховен», «Немецкая классическая музыка растлевает одиннадцатилетних».

Допрос свидетелей не привнес для публики ничего, чего ей уже не было известно из газет. Учителя маленькой Юстины описывали ее как нежного голубоглазого ребенка с золотистыми локонами. Прекрасное, беззащитное, мечтательное существо. Круглая сирота. Отец по происхождению был голландцем, а мать – шотландкой, но оба родились в Штатах. Девочку воспитывала старая тетка, которая сквозь слезы давала показания и умоляла вернуть ей ребенка, обещая заботиться о девочке и больше ни на минуту не выпускать ее из виду.

Обвинение в целом строилось исключительно на признаниях обеих сторон. Старый профессор музыки однажды встретил девочку на Вашингтон-Сквер по дороге из школы, заговорил с ней, и они немного проšliсь вместе. Потом он стал часто встречать ее из школы и время от времени дарил ей маленькие подарки: шоколадки, цветные карандаши и ленты для волос. Один или даже два раза он ехал вместе с ней в омнибусе по Пятнадцатой авеню. Еще немного позже он убедил ее пойти с ним домой.

Вся эта история продолжалась три или четыре месяца. За все это время в школе ничего не заметили. Она была очень тихой и робкой. Хорошо общалась с другими детьми, но во время совместных игр старалась держаться в стороне. Довольно часто маленькая Юстина приносила в школу разные милые подарочки: цветы для учителей, сладости для одноклассников и прочие безделицы, не стоящие больше десяти центов. В последнее время Юстина часто пропускала школу. По ее словам, она болела. Ее донимала то простуда, то кровь шла из носа. И учителя настолько доверяли девочке, что даже не просили у нее записки от тетки.

Когда эти пропуски стали уже слишком частыми, классная руководительница наконец написала письмо опекунше, но так и не получила ответа. В конце концов, после нескольких записок впустую, директриса школы начала подозревать, что что-то неладно. Поэтому она лично посетила опекуншу девочки. Та особа, вдова чиновника банка, живущая за счет скромных процентов с имущества, приняла директрису весьма радушно. Дамы где-то с полчаса проговорили о прекрасной Юстине, чье очарование восхищало обеих; когда директриса уже собиралась уходить, ей внезапно вспомнилась цель своего визита, и она упрекнула вдову, что та не удосужилась ответить ни на одно письмо, и любезно попросила впредь в случае очередной болезни девочки найти время написать объяснительную записку, как того требуют школьные правила.

Вот тут-то и выяснилось, что никаких писем опекунша не получила, а маленькая Юстина за последние полгода ни дня не жаловалась на плохое самочувствие.

После разоблачения девочка поначалу смутилась и испугалась, но вскоре приняла хладнокровный вид. Ни слова нельзя было выудить из нее. Куда подевались все письма? Где она брала деньги на цветы и безделушки? Где пропадала в те дни, когда прогуливала?

Молчание. Ни мольбы, ни упреки не давали результата. Директриса даже пошла на крайние меры и с одобрения совершенно опешившей тетки решила высечь девочку, но и это не помогло. Юстина стиснула зубы. Она не кричала, не плакала... и так и не проронила ни слова.

Целую неделю продолжались эти допросы, но так ничего и не разрешилось. В конце концов им пришлось оставить попытки узнать хоть что-то от самой девочки.

Однако директриса была не из тех женщин, которые так легко сдаются. Возможно, с другим ребенком было бы проще справиться, но эта хорошенькая, уравновешенная и на редкость смышленная девочка твердо отстаивала свой интерес. Итак, директриса обратилась за помощью к одному знакомому полицейскому, и с этого момента за каждым шагом девочки наблюдали тайные агенты, которых в городе было неимоверное количество. Тем не менее прошло еще не меньше двух месяцев, прежде чем что-то выяснилось, но совсем немного: один из полицейских заметил, как Юстина около минуты беседовала с каким-то пожилым господином по дороге в школу. Решено было пока ничего не предпринимать и продолжать наблюдать за Юстиной и пожилым господином, кем бы он ни был, соблюдая все меры предосторожности. Это наблюдение продолжалось еще несколько месяцев, и все это время Юстина оставалась самым милым и очаровательным ребенком во всей школе. Только теперь она будто стала еще задумчивее и тише, чем ранее, и всегда переутомлена. Результаты же столь длительного наблюдения оставались весьма слабыми: один или два раза было замечено, как пожилой господин, личность которого очень быстро установили, лишь поздоровался с девочкой мимоходом. Ничто не говорило о том, что встреча была запланирована заранее. Полиция готова была прекратить слежку за ненадобностью, как один случай наконец пролил свет на происходящее.

Во время ночного патруля полиция задержала одного опасного преступника, и прямо посреди улицы он снова вырвался. Парень бежал, не обращая внимания на выстрелы за спиной.

На Одиннадцатой улице он вскочил в первый попавшийся дом и на мгновение исчез там. Свистки преследователей тем временем собрали вокруг дома целую толпу чиновников – дом перестраивался по всем мерам искусства. За три считанных минуты заблокированы были задний выход, подвал и чердак. У преступника не оставалось путей к отступлению.

После начался тщательный обыск всего дома, комната за комнатой. Не вдаваясь в подробности, искомого преступника Чарли Гурски, главу банды «Боулинг-Грин-Крэкерс», известного также как «Кошер Кид», найти так и не удалось. Однако в комнате профессора музыки Ларса Петерсена полиция застала маленькую девочку, одетую только в шелковую рубашку, которая явно принадлежала не ей. Полиция забрала обеих.

На следующее утро, не обнаружив Юстину дома, ее тетка в растерянности побежала в школу. Директриса обратилась к своему знакомому полицейскому. Он в свою очередь обзвонил все отделения, поэтому личность ребенка, которого забрали на Одиннадцатой улице, установили очень быстро.

Юстина отказывалась что-то говорить. Конечно, ее сразу же лишили опеки тетки, но благодаря слезным мольбам последней и вмешательству директрисы девочку не отправили в детское отделение тюрьмы, а дали на поруки матроне по делам несовершеннолетних. До начала судебного разбирательства она должна была оставаться под строгим присмотром дамы в ее квартире. Ее судьба была предрешена: при любом исходе дела ее должны были отправить в исправительное учреждение. Там ее юность будет загублена, подобно другим, а потом она вернется к обычной жизни, сломленная и душой, и телом, ведь там она будет окружена грубыми, демонстративно набожными воспитателями, чье единственное желание – выбить дьявола из своих подопечных, тем самым снискав в первую очередь благословение самим себе. Там Юстина будет поругана, пристыжена, подавлена, не раз и не два побита розгами, и компании ей будут составлять умственно отсталые, унаследовавшие отклонения в психике и наполовину безмозглые субъекты, в ком склонность к греху сдерживалась лишь кнутом. Вот что должна была вынести Юстина ван Штраатен без какого-либо сострадания. Все это слишком хорошо понимали и отчаявшаяся тетушка, и директриса, и учителя, и матрона, и полицейские, и чиновники суда, которые имели какое-то отношение к этому делу. Они все это знали и все очень сожалели. В конце концов, нельзя было не сострадать этому чудесному ребенку. Но, к

сожалению, уже ничего нельзя было изменить. Ведь, как говорил судья Мак Гуфф, тот, кто заварил кашу, должен ее расхлебывать.

Ужасающее будущее бедной девочки, столь красочно описанное судьей, конечно же, поразило присутствующих в самое сердце. С одной стороны, он убеждал, как превосходно подобные учреждения управляются государством, разъяснял, каким образом при помощи исключительной строгости в подопечных искореняются все преступные инстинкты и прививается религиозность и мораль, но отмечал, что, с другой стороны, есть и опасность для подопечных подхватить тлетворный вирус друг от друга. Так он превосходно справился со своей задачей – вызвать у слушателей и репортеров жалость по отношению к несчастной девочке и вместе тем глубокое отвращение к тому мерзавцу, из-за которого она оказалась втянута в эту трясины. Его успех был и в том, что профессор музыки начал всхлипывать, а на глазах его выступили слезы. Тогда судья повернулся к нему с вопросом, почему он не подумал о последствиях раньше, ведь теперь, к сожалению, уже слишком поздно.

В этот момент Мак Гуфф заметил, как в зал суда вплыла матрона, приставленная к девочке. Он подозвал ее к своему столу.

– Где Юстина? – спросил он.

– Сбежала! – пояснила матрона.

На этот раз судья не смог подавить свой гнев. Он злобно пыхтел и бранил ее, забыв о своем благочестии и угрожая «прижать по закону». Перед всеми присутствующими он назвал почтенную даму такими бранными словами, что изо всех уголков зала раздались подавленные смешки и хихиканье. Но матрона далеко не первый год занимала свой пост, потому ее не так-то просто было поставить в неловкое положение.

– Ваша Честь заблуждается, – спокойно продолжила она, когда судья наконец замолк. – Ваша Честь очень заблуждается, если действительно полагает, что в мои обязанности входит только следить за девочкой. Ваша Честь прекрасно знает, что в моем доме нет возможностей держать кого-то под замком, как и в доме Вашей Чести! Ваша Честь должен был это сделать, не я! Вы должны были отправить ее в тюрьму для несовершеннолетних, тогда бы ничего не случилось. Ваша Честь прекрасно знает, что лишь по исключительности данного случая я согласилась на короткое время оставить девочку в своем доме, поэтому я не несу никакой ответственности. И кроме того, Ваша Честь знает, что я согласилась на это только по большой просьбе Вашей Чести, а также по просьбе этих дам. – Она повернулась к свидетельницам. – Не так ли, сударыни?

Судья Мак Гуфф действительно очень хорошо знал, что дело обстояло именно так. Тогда он уступил совместным уговорам опекуниши и учителей, ибо подобное милосердие должно было хорошо повлиять на ребенка, чья фотография оказалась во всех газетах. Теперь ему пришлось пожалеть об этом решении, но уже ничего нельзя было изменить.

– Кто-нибудь виделся с девочкой в это время? – спросил он.

– Ваша Честь разрешил опекунише навещать девочку раз в два дня и не больше чем на полчаса, – ответила матрона.

– Она разговаривала с девочкой наедине? – продолжал спрашивать судья.

– Нет, только в моем присутствии, и это были совершенно безобидные разговоры, – сказала матрона. – А вот позавчера, на основании письменного разрешения Вашей Чести, ее посетил адвокат Сэм Хиршбайн. Он также беседовал с ней в моем присутствии. Кроме них, никто не посещал девочку, и до сегодняшнего утра она даже не выходила из своей комнаты. Окно в комнате зарешечено.

– Вы ничего необычного не заметили во время этих разговоров? – уточнил судья.

Матрона кивнула:

– Господин Хиршбайн разговаривал с девочкой очень спокойно и совсем ничего у нее не спрашивал. Но было совершенно очевидно, что он завоевал ее доверие. Прежде чем уйти,

он попросил ее по возможности записать что-то, что поможет подсудимому. Юстина обещала ему сделать это. Она взяла у меня бумагу, чернила и перо и написала на самом деле довольно большой отчет. Еще сегодня утром она трудилась над ним. Затем она попросила конверт, на котором написала адрес, сложила в него исписанные листы и закрыла. После она отдала этот конверт мне. Вот он! – Матрона вытащила из кармана конверт.

– Дайте сюда! – рявкнул судья.

– Прошу меня извинить, Ваша Честь, – матрона слегка отстранилась, – но это письмо адресовано господину адвокату, Сэму Хиршбайну.

Самообладание мигом вернулось к Мак Гуффу. Конечно, ему стоило прибегнуть к своему положению и конфисковать письмо. Однако он рассудил так, что может это сделать в любой момент, а на публику произведет куда более благоприятное впечатление, если все-таки передаст это письмо адвокату. Судья приосанился:

– Американский суд признает конфиденциальность переписки... – в этот же момент один из репортеров не смог сдержать смех, который он тут же замаскировал под кашель, – так что передайте письмо господину Хиршбайну. – Мак Гуфф повернулся к адвокату: – Господин защитник, намерены ли вы озвучить для суда содержание данной рукописи?

– Безусловно – ответил Сэм Хиршбайн. – Для этого она и была написана.

Судья Мак Гуфф стал ждать, но адвокат, похоже, вовсе не думал открывать конверт. Вместо этого он положил его под свои бумаги и снова повернулся к матроне.

– Когда и как сбежала девочка? – спросил он.

– Мы вышли из квартиры в четверть десятого, чтобы вовремя прибыть на заседание, – ответила матрона. – Мы ехали в подземке, и Юстина была рядом со мной, как всегда тихая и молчаливая. Мы вышли на Асторплейс, и она внезапно вырвалась и запрыгнула обратно в поезд. Не было никакой возможности удержать ее. Я сразу же отправилась в ближайший полицейский участок и связалась с главным управлением. На данный момент вся полиция Нью-Йорка выслеживает девочку. Ее фотография была во всех газетах – мне кажется, ей не удастся уйти далеко. Было объявлено, что каждый полицейский, который увидит ее, должен немедленно привести ее к Вашей Чести.

Судья Мак Гуфф отпустил свидетельницу и вернулся к признаниям. Он отыскал их в своих документах и начал зачитывать вслух, не забывая вставлять комментарии там, где считал нужным. Профессор музыки на следующий же день после ареста дал подробные показания, сломленный ночью, проведенной в тюрьме со всеми неудобствами, и грубым обращением полицейских. Позднее при допросе он дополнил эти показания еще большими подробностями. Девочка же, напротив, продолжала следовать своей тактике и не сказала ни слова, даже когда судья озвучил ей признание профессора. Ее удалось заставить говорить только тогда, когда ей принесли письмо ее старого друга, в котором он освобождал ее от данного ею обещания никому ничего не рассказывать.

Но даже после этого ее показания были крайне скудными. Она только призналась, что не отдавала письма директрисы тете, а просто сжигала их. Она также призналась, что пропускала занятия в школе, чтобы навестить профессора, а позже стала оставаться у него на всю ночь. И это он давал ей деньги, на которые она покупала безделушки для учителей и одноклассников. Наконец она подтвердила, что все именно так, как написал профессор в своем признании, которое ей зачитали.

Судья Мак Гуфф постепенно устал от чтения, поэтому передал документы сидящему рядом писцу, и тот дочитал до конца своим тусклым, монотонным голосом, пропустив по приказу судьи несколько абзацев. После чего судья собрал все сказанное до этого воедино и подвел итог.

Для него все выглядело следующим образом. Профессор Ларс Петерсен постепенно завоевал полное доверие невинного ребенка. С тех пор как Юстина стала приходить к нему домой,

она полностью оказалась под его влиянием. Старый развратник заваливал девочку подарками, которые, однако, не выносились из его квартиры. Из таких подарков особенно стоит отметить два платья, три шелковые рубашки и нижнее белье, а также разные кольца, ожерелья и браслеты. Денег подсудимый давал ей немного – как он уверял, так она сама желала, – лишь пару долларов, на которые она покупала безделушки в школу. Профессор обучал ее музыке, пению, иностранным языкам и, наконец, танцам. Но все это было лишь приманкой для невинного существа. Как показали результаты медицинского обследования и как подтвердили сами соучастники, между ними произошла интимная близость. Более того, она проявлялась в таких противоестественных вещах...

– Вы наверняка уловили, дамы и господа, – заметил судья Мак Гуфф, – что во время чтения этого признания я кое-что пропустил, потому что это настолько отвратительно, что строгость американских нравов не позволяет мне донести это до ваших ушей. Я не брюзга и ратую за абсолютную открытость. Но я не хочу оскорблять чувства порядочных людей, заставляя их рыться в этих нечистотах.

Один из репортеров поднялся со своего места, подошел к Его Чести и попросил передать эти документы прессе для беглого ознакомления. Мак Гуфф без промедлений передал документы, однако попросил репортеров не злоупотреблять данной информацией. Но он прекрасно знал, что репортеры моментально перепишут все и уже к концу судебного заседания всем слушателям будут известны детали содержимого этих документов – он не мог не доставить своей публике это маленькое удовольствие.

Слово передали представителю обвинения.

Этот господин, который прежде мало вмешивался в ход заседания и лишь время от времени задавал несущественные вопросы, вынул изо рта жвачку и по привычке прилепил ее к обратной стороне столешницы, чтобы потом снова пожевать. Потекла бесполезная, но очень долгая речь, во время которой репортеры яростно списывали признание профессора. Представитель обвинения призывал суд очистить город от распутников, охотящихся на детей. Нужно четко понимать, что отвратительный преступник, сидящий сейчас на скамье подсудимых, отнюдь не уникален. Родители, которые теперь боятся отпускать детей в школу одних, должны быть освобождены от этого морока и снова дышать спокойно. Под конец своей речи он призвал к наказанию – двадцати годам каторжных работ.

Он еще не закончил свою речь, когда в зале суда появился гражданский детектив. Последний дождался конца выступления и широкими шагами направился к судейскому столу. Он сообщил, что на его участок телеграфировали о том, что разыскиваемая Юстина ван Штраатен, двенадцати лет от роду, была найдена мертвой. Девчушка переправилась на пароме через Гудзон на Четырнадцатую улицу и на стороне Хобокена бросилась в реку. Паром тут же остановился, но поток успел унести ребенка. Тело было найдено через полчаса портовой полицией. Попытки вернуть ее к жизни не увенчались успехом. На самом теле ничего не найдено, кроме платья, чулок и обуви. Нет ни малейшего сомнения, что это и есть та самая школьница Юстина ван Штраатен.

Это известие сразу же вызвало волнение в зале. Обвиняемый подскочил в ужасе, ловя каждое слово. Опекунша девочки заголосила и разразилась истеричными рыданиями, в то время как слушатели, распаленные речами судьи и прокурора против обвиняемого, рассыпались в проклятиях. Одна из оперных див, пришедшая на заседание, прокричала:

– Ее смерть на его совести! Он убийца! Такого бы да на электрический стул!

То был, увы, отнюдь не бескорыстный порыв. Не только суду нужна реклама, театру – тоже. Пусть заголовки вечерних газет будут восклицать: «Лилянна Лоррейн из „Фолли“ требует смертной казни!»

Его Честь прервал заседание на пять минут и пригрозил разогнать всех из зала, если тишина не будет восстановлена. Он отпустил опекуншу, содрогавшуюся от рыданий – у той никак не выходило успокоиться.

Когда слушание возобновилось, судья Мак Гуфф дал слово защите. Сэм Хиршбайн поднялся и заявил, что в данных обстоятельствах защита согласна со всеми обвинениями в адрес подсудимого. Возможно, относительно каких-то моментов у него и были сомнения, возможно также, что где-то произошло недопонимание, но все это слишком несущественно, чтобы начинать спор: по большей части заявления прокурора соответствуют фактам. Но есть некоторые события, на которые можно взглянуть с другой стороны, и тем самым они предстают в совершенно другом свете. Хиршбайн решил прервать свой доклад, чтобы дать подсудимому возможность рассказать историю его преступления так, как тот сам ее видел.

Его Честь кивнул и дал слово профессору. Ему было приятно осознавать, что теперь обвиняемому придется защищаться самому. Это подстегнет интерес слушателей и прессы.

Профессор музыки бормотал так невнятно, что его едва ли могли понять даже сидящие рядом с ним судейские служащие. Сэм Хиршбайн наклонился к подсудимому и начал громко передавать то, что старик мямлил едва слышным шепотом. Однако и после этого судья и слушатели воспринимали лишь отдельные фрагменты того, что рассказывал обвиняемый.

Он рассказал о своей жизни, о жалком существовании бедного студента-музыканта, который жил только своими идеалами («Хороши идеалы!» – ворчал про себя судья). Ему пришлось эмигрировать, потому что в Европе было в достатке других, так же образованных, как он, но во многом даже талантливее. Он надеялся, что в Штатах ему проще будет найти место. Он усердно трудился всю свою жизнь. Всегда надеялся и всегда разочаровывался. Он женился на чудесной шведке, которая родила ему дочку. Он просто боготворил эту девочку. Когда ей было одиннадцать, произошло несчастье. Мать и дочь попали под поезд на западной стороне Десятой авеню – там, где железная дорога проходит прямо через улицу.

С тех пор Ларс Петерсен сделался больным. Он не мог больше работать. Денно и ночью он слонялся по улицам Нью-Йорка и всегда возвращался к тому роковому месту. Он не мог отделаться от навязчивой идеи самому броситься под колеса. Несколько раз люди спасали его в самый последний момент. Затем, по распоряжению музыкального профсоюза, его на несколько месяцев отправили в лечебницу для душевнобольных. Когда его наконец выписали, он действительно исцелился – за исключением одной маленькой детали. Еще когда он был под наблюдением, все его мысли вращались вокруг его утраты. И постепенно он пришел к заключению, что он никогда не любил свою жену. Он любил только дочку. Постепенно он забыл свою жену и едва ли мог вспомнить, как она выглядела, в то время как образ девочки становился все ярче в его сознании. Или правильнее будет сказать, что они обе сливались в некий единый образ – прелестное создание одиннадцати лет, белокурое и голубоглазое, совсем как Юстина. Воспоминания о счастливых часах, прожитых с женой, отныне посещали Ларса только вместе с образом маленькой девочки. Он возобновил свое ремесло, правда, теперь ограничился лишь частными уроками; замкнулся в себе и ни с кем не общался... покуда не встретил на улице девочку, которая была очень похожа на его дочь.

– Юстину? – уточнил судья.

Профессор помотал головой: нет, это была не она. Это было еще раньше. Это была школьница, которая ходила к нему на уроки музыки.

Его Честь насторожился:

– Так Юстина еще и не первая жертва! Были и другие маленькие девочки, похожие на вашу дочь, ведь так, профессор Петерсен?

Подсудимый кивнул: да, как-то он встретился с одной девочкой на улице и заговорил с ней. А немного позже в его же доме поселилась семья с другой девочкой.

– Итого уже три! – выпалил судья Мак Гуфф. – Три до Юстины! Покопайтесь-ка в памяти – может, их у вас было больше?

– Нет, – прошептал подсудимый. Было видно, как тяжело ему тягаться с настолько властным и громким голосом.

– Значит, вы признаетесь, что было еще три жертвы! – продолжал Его Честь. – И если все-таки взяться за расследование, уверен, найдутся и другие! Вы делали с этими бедными девочками то же, что и с Юстиной?

Подсудимый взглянул на судью совершенно беспомощно.

– Отвечайте! – рявкнул судья.

– Нет же, нет! – Профессор начал заикаться. – Все не так! Они были очень похожи на мою дочь, но все равно были чужими. И только Юстина...

Мак Гуфф перебил его:

– Так вы отрицаете? Я же предупреждал вас, профессор, что только чистосердечное признание может хоть как-то улучшить ваше положение! Как это было?

Обвиняемый сцепил руки.

– Поймите, – прошептал он, – все было совсем по-другому! Ни одна из них не была моей дочерью!

– Но в Юстине вы увидели именно своего ребенка? – В голосе Его Чести прямо-таки звенел триумф.

– Да, – ответил профессор.

– И потому, – голос судьи стал глубже от праведного негодования, – и потому вы для нее стали отцом? Благодарю вас, профессор!

Казалось, что старик не понял до конца неуклюжую иронию Мак Гуффа.

– Да, – тихо ответил он. – Да, Ваша Честь.

Затем Ларс Петерсен рассказал, как встретил Юстину. Было слышно, как перья репортеров скребли по бумаге – такая тишина царила в зале. Судья Мак Гуфф был доволен. Да, это стало настоящей сенсацией, несмотря на то, что главный свидетель отсутствовал.

Профессор встретил Юстину. И она была точь-в-точь как его девочка. Он понимал, что это не его ребенок. Что это Юстина ван Штраатен, живущая с теткой на Девятнадцатой улице. И все же это его девочка вернулась к нему спустя столько лет. Девочка из его снов, которая была одновременно и его женой.

– Я был так счастлив в это время, – сказал он.

– Что вы с ней сделали? – надавил на него судья.

Ларс уверял, что у него не было никаких иных помыслов, кроме как сделать девочку счастливой. Но он знал, что это счастье разобьется на куски, стоит хоть одной душе узнать об этом. Поэтому он постоянно просил ее никому ничего не рассказывать. Он собрал все свои сбережения и потратил их на нее, не колеблясь ни секунды. Ради нее он украшал свою комнату цветами. Он покупал ей все, что могло хоть как-то порадовать ее, и ничего, совсем ничего не ждал взамен. У него не было никаких дурных намерений. То, что произошло потом, случилось само по себе – даже и не объяснить как. Ларс понимал, что однажды все это закончится. Однажды им придется заплатить за эти моменты счастья. Сама маленькая Юстина уже заплатила, подыт ожил он. И он тоже готов заплатить, какой бы высокой ни была цена. Потому что пережитое счастье стоит любой, даже самой высокой цены.

Он сел на место.

Судья Мак Гуфф задумался, стоит ли ему что-то добавить. Но ничего подходящего сейчас не приходило ему в голову. Поэтому он опустил на стул, нервно повел плечами и уже с благосклонностью проговорил:

– Мы вас слышали, профессор. Я должен поблагодарить вас от имени слушателей, что вы уберегли их от подробностей! У вас есть что добавить, господин прокурор?

Добавить было нечего. Слово снова дали защите.

Сэм Хиршбайн поднялся. Он сказал:

– Я не думаю, что Его Честь в полной мере проникся душевными переживаниями подсудимого, которые только что были публично раскрыты...

Мак Гуфф сразу же оборвал его:

– Конечно, нет. Боже упаси! – Он расхохотался. – Я – американец, и я верю только в религию, мораль и знамя Соединенных Штатов! Свинья остается свиньей, и я не был бы хорошим судьей, если бы тратил время на душевные муки свиней!

– Думаю, так оно и есть, – продолжил адвокат. – Но я очень надеюсь, что, возможно, до кого-то из слушателей дошел глубокий смысл исповеди профессора. Я говорю о людях, которые понимают, что помимо ориентиров, которые являются главными для Вашей Чести, существуют и другие – не менее важные, быть может. Мне совсем нечего добавить к словам подсудимого. Они настолько просты, что будут понятны каждому, у кого есть слух. Я хотел бы подчеркнуть лишь одно. Обвинение выстраивалось только на показаниях профессора Петерсена, которые были нам зачитаны. Но в этой комнате нет ни одного свидетеля. А признание маленькой девочки есть не что иное, как подтверждение фактов, полученных от подсудимого. При этом обвинение принимает каждое слово профессора как абсолютную истину – в таком случае мы должны поверить и тем словам, которые подсудимый только что произнес. Душевное состояние профессора в течение долгих лет оставалось плачевным. Поэтому я ходатайствую о переносе слушания и привлечении к данному делу экспертов по душевным расстройствам.

– Суд удаляется для рассмотрения ходатайства защиты, – провозгласил Мак Гуфф.

Он поднялся, отодвинул стул, сгреб все бумаги и направился к двери. Он уже закрыл за собой дверь, как вдруг снова ворвался в зал. Метнувшись к своему месту, судья озвучил вердикт:

– Ходатайство защиты отклонено. Суд считает, что положение вещей совершенно понятно, нет ни малейшего основания для переноса слушания. Я прошу защиту продолжить свою речь.

Адвокат Хиршбайн улыбнулся:

– Иного я и не ожидал. В этом вся суть американского суда.

Судья Мак Гуфф выпалил:

– Вот именно! И если вы с ним не согласны, то возвращайтесь туда, откуда пришли! Вам так будет лучше! Нам тоже!

Из зала послышались одобрительные возгласы.

– Давай назад, в Палестину! – выкрикнул один известный актер, который уже долгое время ждал возможности отметить свое имя в газетах, подобно коллеге Лилианне.

Сэм Хиршбайн спокойно выждал тишины. Затем он продолжил:

– Не думаю, что мое слово в пользу обвиняемого сможет возыметь какое-то действие, поэтому я дам возможность другому человеку сказать за него, а именно милой маленькой девочке, Юстине ван Штраатен, которая заменила ему и обожаемую дочь, и жену.

Он достал письмо, которое принесла матрона, и поднял его над головой.

– Ваша Честь мог видеть, я не распечатывал этот конверт до сих пор. Не имея ни малейшего представления о его содержимом, я просто слово в слово зачитаю его и приобщу к остальным материалам дела. Я убежден, Ваша Честь, ни один защитник мира не выступит лучше в пользу моего клиента...

Он разорвал конверт, разгладил листы и начал читать:

– «Я пишу это сейчас, потому что адвокат сказал, что это поможет. И мне тоже кажется, что это должно помочь. Я это точно знаю, когда остаюсь одна. Матрона говорит, что я должна отвечать только правду, когда мне будут задавать вопросы в суде. Но я не верю. Человек никогда не может говорить правду, если он отвечает в суде. Все всегда по-другому. Не так, как было

на самом деле. Но если я напишу, мне уже ничего не придется говорить в суде, кто-нибудь просто прочитает за меня. И тогда мне вообще не нужно будет туда идти. Я хотела бы пойти, чтобы увидеть профессора еще раз, но они начнут меня спрашивать и все испортят. Поэтому я не хочу идти. Но я шлю профессору свой привет и огромную благодарность. Я не хочу идти в суд. И уж точно не хочу идти в дом, о котором рассказывает матрона. Этого я делать не хочу. Но я уже знаю, что я сделаю. Я только хочу поцеловать дорогого профессора. Пожалуйста, передайте ему, что никто не любил его так, как я. А еще передайте привет тетушке и учителям. Их я тоже очень любила, и мне очень жаль, что я доставила им столько хлопот. Они должны простить меня, пожалуйста. И еще раз передайте профессору мою благодарность. Матрона говорит, что я совершила нечто ужасное и должна сожалеть об этом. Но я не могу сожалеть, потому что не совершала ничего ужасного. В том доме, где меня хотят запереть, я должна буду сожалеть, сожалеть постоянно. И поэтому я не хочу отправляться туда. И я не хочу жить вдали от профессора. Я знаю только то, чему он научил меня. В школе я, конечно, тоже училась, но это было совсем не то. Там никто не знает, что такое настоящая красота. Учителя не знают. Тетушка не знает. А я знаю, потому что профессор показал мне ее. Все, что он делал, было красиво. Дорогой профессор всегда рассказывал мне сказки и разные истории, когда я сидела у него на коленях. И все они были красивые. Он знал все и даже больше. Он знал мир, в котором мы жили. Профессор говорил, что это только наш мир. Мир мечты. В нем мы жили. Он так много дарил мне, и всегда именно то, что я хотела. Но я его люблю не за это. Я бы любила его, даже если бы он ничего мне не дарил. Профессор играл на скрипке и на фортепиано. Он говорил, что красота живет в звуках. Но в школе об этом никто не знал. Даже пение красиво. И танцы – это красиво, очень красиво, когда ощущаешь музыку во всем. Я тоже красивая. Мои голубые глаза, мои светлые волосы, мои губы красивы. Мои ноги, мои руки, все мое тело. Мне так сказал профессор. В школе мне говорят совсем другое. И тетушка говорит другое. Они говорят, что я миленькая, с кукольным личиком. И что-то вроде того. Но это совсем другое. То, что они говорили мне, я не могла почувствовать. Но я чувствовала то, что говорил мне профессор. Это было как музыка. Как аромат цветов, как звук сказок. Все вокруг было наполнено красотой, частью которой была я сама. А профессор говорил, что красота – это счастье. Поэтому мы и были так счастливы. А еще профессор говорил, что все это прекратится, если хоть один человек узнает. И он был прав. Потому что люди, которые не знают, что такое красота и что такое счастье, всегда ненавидят тех, кто по-настоящему счастлив. И они все разрушают. И так оно и случилось. И теперь все, все так уродливо. Любовь профессора никому не причинила зла. Он был добрым и любил только прекрасное. И я тоже любила всех вокруг и хотела сделать для них что-то хорошее. Почему они не захотели оставить нас в покое? Наше счастье никому не причинило зла, поэтому о нем нельзя сожалеть. То, что сделали с нами эти люди, плохо. То, что профессор делал со мной, и то, что я делала с ним, было прекрасно. Я рада, что благодаря мне профессор был счастлив. И я так благодарна, так благодарна ему, что он сделал меня счастливой. И теперь я действительно знаю, что такое красота и что такое счастье. Это все чистая правда. А то, что люди пишут в суде, ложь. Они, повторю, не знают ни красоты, ни счастья, понимают это как-то по-другому и оттого пишут ложь. Но есть лишь одна правда. Профессор вам ее расскажет. И, пожалуйста, передайте ему мой привет и мою любовь еще раз. Я постоянно вспоминаю одну сказку, в которой маленькая душа летала где-то и искала другую душу, которую любила, а потом наконец нашла. Передайте ему, что и я буду летать и искать, пока не найду его. Юстина ван Штраатен».

Адвокат убрал письмо в сторону.

– Мне больше нечего добавить, – заявил он и вернулся на место. Письмо он передал обвиняемому.

И снова судья Мак Гуфф поднялся, и снова вышел, чтобы тут же вернуться обратно.

Его последующая речь длилась десять минут. Он перечислил основные моменты показаний, затем перешел к выступлению защиты и письму девочки. Преступник сам признался, что было еще как минимум три жертвы его похоти. То, что он дьявольски хорош в заманивании невинных детей, прекрасно видно из глупой писанины маленькой Юстины, в которой нет и искры здравого смысла. Он счастлив, что у него есть возможность очистить Нью-Йорк от этой чумы, и надеется, что это ужасное преступление должным образом всколыхнет общественность. Каждый уважающий себя американец, который прочтет об этом деле, должен срочно написать сенатору или депутату своего округа просьбу о введении законопроекта по запрету иммиграции.

Наконец прозвучал приговор: сорок лет каторжных работ.

Но профессор Петерсен этого не слышал. Он не отрывал глаз от письма маленькой Юстины, которое ему передали по распоряжению судьи.

Судья Мак Гуфф завершил заседание. Обвиняемого увели, слушатели повалили к судейскому столу, чтобы позать руку Его Чести. Его поздравляли проповедники, политики, господа и дамы из высшего общества. Да, это был настоящий триумф!

И только маленькая шустрая Айви Джефферсон с насмешкой прошептала:

– Какой же вы болван, Ваша Честь!

Но судья не обратил на нее внимания. Это был великий день для судьи Генри Тафта Мак Гуффа.

## Отступница

*Но и другое тебе я поведаю: в мире сем тленном Нет никакого  
рождения, как нет и губительной смерти<sup>2</sup>.  
Эмпедокл. «О природе»*

Они звали его Стивом, потому что именно так звали его предшественника, а старый могильщик был слишком ленив, чтобы привыкнуть к другому имени. Он так сразу и заявил новому помощнику:

– Буду звать тебя Стив.

Дело было в Египте, но не на Ниле, а в штате Иллинойс, в южной части, в одном местечке, которое окрестили Египтом из-за бродящей там дурной крови ядреной закваски. «Дурной кровью» – для американцев, конечно же, – были были хорваты, словаки, венгры, чехи, сербы, словенцы, русские, греки, итальянцы и украинцы. Добропорядочный янки, впрочем, не знает, как зовутся все эти народы; как только ему становится ясно, что по-английски из них никто не говорит, он думает, что в Вавилонскую башню попал. А Вавилон – это же где-то в Египте, да? Ну или поблизости – одна ботва, плевать. Вот почему означенное местечко добропорядочные янки окрестили Египтом.

Янки там всю хозяйничали – им принадлежали земля, все здания на ней, хижинки и угольные шахты. Негритянские рабы на юге были свободны уже в течение полувека, им больше не нужно было работать. Но белые, которые хлынули из Европы, должны были работать. А если бы они не захотели, если бы забастовку там объявить удумали, то хозяева достали бы свои автоматические пистолеты и положили бы пару десятков человек и еще пару десятков сгноили бы в тюрьме – просто так, великой американской свободы ради. Так дела делались во всей стране, и Египет чаша сия не обошла стороной.

Некоторым «египтянам» хватало ума объединиться и скопить сперва немного золота, потом чуть побольше, потом еще немножко – и так до тех пор, пока они сами не делались «американцами», то есть хозяевами здешней жизни. О социальном неравенстве речи не шло, нет-нет, тут только собственность играла роль. Эти новые хозяева обходились с теми слоями, откуда вышли, даже хуже, они-то не понаслышке знали, как выдавить последние соки из своих подневольных.

Название маленького городка, неподалеку от которого жил Стив, вовсе не походило ни на египетское, ни на английское, ни на индийское. Оно звучало по-немецки – Андернах. Несколько баварских и рейнландских фермеров поселились там много лет назад – никто уж и не помнил, когда именно. Но они все давно ушли, кроме нескольких семей, разбросанных тут и там, и когда появилась промышленность, с ней к ним нагрянули и «египтяне». Только несколько старых поселенцев осталось – две или три немецких фамилии. Эти тоже стали «американцами» и долгое время слыли владыками положения, богачами.

Несмотря на это, городок с немецким колоритом выглядел иначе, чем все остальные вокруг него. Здесь не было ни деревянных бараков, ни побеленных хижин, зато имелись настоящие кирпичные дома, увитые лозами, окруженные садами, где росли яблони, груши и вишни.

Представители «дурных кровей» хорошо улавливали разницу и не нарушали этот уклад. Они строили свои дома неподалеку и почти чувствовали себя по-человечески – уж точно в большей степени, чем где бы то ни было в печальном египетском краю.

За окраиной находилось кладбище, и оно было еще более немецким, чем город. Там росли могучие дубы и плакучие ивы. Могилы обступили небольшой холмик, на надгробиях –

---

<sup>2</sup> Перевод Г. И. Якубаниса.

простых, но ухоженных, без единого усика плюща на них, – все еще читались фамилии: «Шмиц», «Шольц», «Хубер». Кладбище было общественным достоянием, не принадлежа ни религиозной общине, ни какому-либо «египетскому» роду-племени. Всех принимало оно – были бы деньги. Два раза в год банк в городе посылал чек из Чикаго, а может, из Сан-Франциско, здешнему старому могильщику.

Когда немцы ушли, они продали все – дома, сады, наделы, – кроме кладбища. Никто не мог его продать – значит, и купить тоже никто не мог. Но кое-кто в Андернахе, какой-то Шмиц, или Шольц, или Хубер-который-давным-давно-умер, учредил трест, и могильщик за труд свой получал вычет из процентов. Таким образом, этот старик был сам себе хозяин и управа – и «египтяне» относились к нему с уважением. Он продавал места для погребения по разным ценам – кому-то ставку занижит, а кого и обдерет как липку. Заплатишь хорошо – и могила твоя будет на могилу похожа, с вензельками да гравировкой на кресте; проявишь жадность – получишь холмик проще некуда. Впрочем, иной раз и хорошо заплатишь, да таким же холмиком обойдешься: значит, под горячую руку попал.

Могильщика звали Павлачек. Он приехал в Америку давно, еще с теми немцами за компанию, и теперь носил титул самого пожилого человека в городе. Свой родной чешский он забыл уже сорок лет как, но с прибытием «египтян» худо-бедно восстановил в памяти. На приготовление языковой солянки ушли у него также познания в немецком и английском – смесь получилась крепкая, с грозным самобытным акцентом. В мастерской у Павлачека трудились пятеро итальянских каменщиков, шесть садовников и столько же могильщиков. Стив был одним из них.

Стив был не из «египтян», он родился в Америке. По-видимому, звали его Говард Дж. Хэммонд, и прибыл он из Питерсхэма, штат Массачусетс. И вот к настоящему времени с момента его прибытия прошло тридцать три года.

Записал (и частично пережил на собственной шкуре) поведенную Стивом историю не кто иной, как Ян Олислагерс из Лимбурга – голландец (и в той же мере фламандец) по национальности, немец по культуре и воспитанию. Он работал в интересах Германии во время войны, и когда Соединенные Штаты вовлеклись в нее, к нему стали относиться очень подозрительно. Не проходило и дня, чтобы не арестовывали и не бросали в тюрьму немцев, многие из которых были его хорошими друзьями. Ян Олислагерс в тюремные застенки не торопился, а потому решил, что пришло время исчезнуть на некоторое время из Нью-Йорка и залечь на дно.

Итак, он прибыл в Андернах, что в землях египетских. Там, недалеко от города, была большая лакокрасочная фабрика, и он устроился туда на работу. Он не очень разбирался в химии, но понимал, как создать впечатление, будто знаний у него вагон. Также Ян состоял в шапочном знакомстве с управляющим фабрики; тот был из Нью-Йорка, знал о докторском звании приятеля и о его смутно немецкой родословной, а потому считал, что ему повезло заполучить к себе в услужение великого немецкого химика, у которого наверняка так много секретов за душой. Фриц, не фриц – какая разница; здесь, в Андернахе, много вреда ему не учинить в любом случае. Да и платить такому много не надо – хватит с него и небольшой комнаты в здании фабрики да рабочего пайка.

Поначалу Ян Олислагерс в лаборатории откровенно бездельничал. Когда некоторое время спустя с него потребовали объяснений, он заявил, что не способен думать, когда под чьим-то патронажем трудится. Пусть дадут свое рабочее помещение и уберут лишний шум – а там поглядим. Восхищение немецкой наукой перевесило наглость Олислагерса, и все его абсурдные пожелания были выполнены; дабы доктор принес фабрике успех, начальство готово было потакать его слабостям.

Будучи в целом человеком толковым, фламандец наскоро нахватался химического сленга, сочинил пару красивых отговорок и прочел пару книг из заводской библиотеки. Вскоре у него сложилось общее представление о своей работе. Тогда он разослал заказы на поставки

химикатов, в которых нуждался, по всему миру и принялся ждать. Так его дни складывались в недели, а недели – в месяцы.

Он никогда ни с кем не разговаривал и выходил только по вечерам, чтобы размять ноги, изредка отправляясь на кладбище. Именно там он познакомился со Стивом. История, изложенная ниже, как раз и происходит из этого знакомства и из записей Олислагерса, сделанных по ходу дела.

Олислагерс много вечеров провел, сидючи со Стивом на каменной скамье под старой липой. У Стива был секрет за душой, и это раздражало фламандца. Он чувствовал, что этот секрет совершенно особенный, и ему невтерпех было обо всем узнать. Но окаянный Стив, как назло, почти ничего не говорил, а просто сидел сиднем часы напролет, храня тишину в компании Олислагерса. Фламандец никак не мог раскусить этого парня – он тщился влезть ему в душу и так и эдак, но лазейка не находилась. Стив не пил, не курил, не жевал табак, его явно не интересовали женщины – и о чем прикажете говорить с таким человеком?

Трудно сказать, что привлекло Яна Олислагерса в Стиве в те месяцы. В нем не было ничего особенного или запоминающегося. Волосы – каштановые, лоб, нос, подбородок, уши – самые обычные. И все же парень тот был красив. Что-то в нем имелось особенное.

Одно было ясно наверняка: мысли Стива были на постоянной основе чем-то заняты. Это что-то было всегда рядом – витало неподалеку слабым духом, но время от времени проявлялось сильнее – и никогда не оставляло его – может, лишь в те редкие моменты, когда Яну Олислагерсу удавалось обратить ум Стива к чему-то другому. Например, когда Стив бессвязно и отрывисто делился с фламандцем тусклыми воспоминаниями ранних лет.

Да, он приехал из Массачусетса, родился в семье методистов. Мало чему научился, в юном возрасте покинул дом, путешествовал по всей стране. Он успел побывать всем, кем может устроиться мужчина, не будучи никем: лифтером, мойщиком посуды, расклейщиком объявлений, кочегаром на пароходе, ковбоем в Аризоне, билетером в кинотеатре. Трудился он на уйме фабрик и на легионе ферм, от Ванкувера до Сан-Августина, от Лос-Анджелеса до Галифакса. Ни на одном месте Стив подолгу не задерживался, но вот теперь уже два года как осел, учуяв свое истинное призвание. Работа в Андернахе в кои-то веки пришлась ему по душе – и здесь ему, Стиву, быть до конца дней своих.

Когда Стив сказал это, в его глазах вспыхнули маленькие огоньки и принужденная улыбка скользнула по его губам. А потом, вновь уйдя в раздумья о чем-то, он умолк.

Олислагерс понял – вот оно, искомое, та самая тайна за семью печатями. Какую же диковину прячет этот чудаковатый малый от него?

Вскоре было объявлено начало военного призыва. Все мужчины от восемнадцати до сорока пяти лет должны были зарегистрироваться для участия в нем.

Стив забеспокоился, и эта тревога в нем росла с каждым днем.

– Почему ты не хочешь стать солдатом? – поинтересовался у него Олислагерс.

Стив решительно помотал головой.

– Не хочу, – пробормотал он. – Не нужно мне.

В другой раз он снизошел до скупых пояснений:

– Дело вот какое – я не хочу уезжать отсюда.

Однажды воскресным утром Стив постучал в дверь лаборатории и осторожно закрыл ее за собой, ступив за порог. Убедившись, что фламандец один, он обратился к нему с одной деликатной просьбой. На комиссию он должен будет явиться уже в следующую среду – не может ли доктор дать ему что-нибудь такое, от чего он скажется больным... или, чем черт не шутит, вовсе непригодным? Ему не надобно на фронт – ну не может он оставить здешние края, и все тут. Ян Олислагерс не стал долго раздумывать и через мгновение заговорил с ним. Ему требовалось только одно: взамен Стив должен был рассказать ему, что так сильно удерживало его здесь. Стив подозрительно покосился на фламандца.

– Нет, – наконец буркнул он и ушел.

На следующий день Олислагерс встретился с ним на кладбище. На этот раз он долго увещевал Стива, пытаясь повлиять на него всеми своими навыками убеждения. Но Стив не сдвигался со своей позиции ни на йоту.

– Ну подумай сам! – разливался соловьем фламандец. – У тебя есть какой-то секрет. А мне, если хочешь знать, жутко любопытно, в чем суть да дело. Так расскажи мне! Тебе же ничего не стоит. Расскажешь – и, поверь мне, к среде не будет человека более негодного для службы в армии, чем ты, мой друг.

Стив, поднимаясь со скамейки, покачал головой.

На следующее утро он пришел в лабораторию очень рано. Он вытащил из кармана двести тридцать долларов – все свои сбережения. Фламандец махнул ему рукой, указывая на дверь.

Тем же вечером он вновь прогулялся до кладбища, но Стива на скамейке не застал. Некоторое время подождав, он отправился искать его. Наконец могильщик встретился ему задумчиво сидящим на свежем погребальном холмике.

– Иди сюда, дружище Стив, – позвал его Олислагерс.

Тот не пошевелился. Фламандец подошел поближе и хлопнул его по плечу:

– Вставай. Ну же. Дам я тебе то, что ты просишь.

Могильщик медленно поднялся.

– Правда? – спросил он. – Завтра уже к врачу.

Фламандец кивнул.

– Тут где-нибудь растет дигиталис?

Стив не понял его.

– Я имею в виду наперстянку.

Стив подвел фламандца к кусту и по просьбе того сорвал несколько цветов.

– Где, говоришь, живешь? – спросил Ян Олислагерс.

Они прошли к маленькому каменному склепу посреди постылых делянок смерти. Стив вытащил из кармана большой ключ и отпер его. В одном углу склепа стояла парочка лопат, в другом – кирка. Ворох пустых мешков был свален у стены. Больше ничего не было.

– Ты здесь живешь? – Фламандец присвистнул.

Стив отпер вторую дверь – та вела в маленькую комнатку-пристройку.

– Здесь, – буркнул он.

В комнатке стояли походная раскладушка, маленький столик, пара стульев и кривой умывальник. Еще были там старый сундук, сломанная вешалка для одежды и миниатюрная плита. Стены сияли наготой.

– У тебя есть спиртное? – спросил Олислагерс. – Если нет, просто завари из этого дрянн-цветка немного чая. Перед сном выпей.

Он объяснил Стиву, что именно нужно сделать и как он должен вести себя во время медицинского осмотра. Стив повторил все вслух много раз. Затем он открыл сундук, достал свои деньги и еще раз предложил ему.

Фламандец покачал головой:

– Брось, Стив. Я помогаю тебе по дружбе.

Затем он ушел.

Стив выбежал на улицу вслед за ним, держа в руке маленькое коралловое ожерелье:

– А такое вам нравится, герр?

Ян Олислагерс осмотрел подачку.

– Где ты это взял? – со смехом спросил он. – У подружки?

Стив серьезно кивнул.

– И где же она?

– Мертва.

Олислагерс уставился на Стива скептически.

– Нравы египетские, смертопоклонничество, – пробормотал он себе под нос и после добавил, повысив голос: – Оставь это себе на память, дружище! Ничего мне не нужно, я же говорю! Даже тайна твоя, ежели не хочешь ей делиться. Не забывай, что ты должен сделать, и удачи тебе завтра. Приходи ко мне в лабораторию потом – расскажешь, как все прошло.

Следующим днем Стив пришел к Олислагерсу поздно. Он был бледен и дрожал как осинный лист, но на лице у него играла довольная улыбка.

– Я свободен, – просипел он.

Фламандец поздравил его.

– Садись, мой мальчик. Сейчас я выведу из твоего организма яд, ну или хотя бы ослаблю его действие.

Честь по чести, Олислагерс понятия не имел, что ему нужно – или что он может тут использовать – для этой цели; но алкоголь уж точно вреда не причинит – может, даже слегка поможет. Так что Стиву досталось виски. Он опрокидывал его стакан за стаканом, как лекарство, храня при этом завидную молчаливость, что изрядно огорчило хитрого фламандца, хоть тот и не подал виду. Олислагерс заставил своего друга с кладбища уговорить изрядное количество крепкого напитка; тот все выпил и, уходя, поблагодарил своего благодетеля. Ноги Стива заплетались, отказываясь служить как надо, язык с трудом ворочался, но пьяным было только тело; разум не покидал свои привычные строгие тиски, храня прямо-таки фантастическую дисциплину.

Услышав, как Стив упал на лестнице, Ян Олислагерс отправился к нему, поднял, кое-как отряхнул и, крепко обхватив могильщика за плечи, с усилием поволок его в сторону кладбищенской резиденции. Когда они оказались у самых погостных ворот, Стив взял себя в руки.

– Спасибо, герр, – произнес он.

Стив никогда не читал книг, не пролистывал газет. Он был совершенно равнодушен ко всему, что происходило за пределами кладбища. Он знал, что где-то в мире идет война, но его ничуть не интересовало, кто ведет войну, почему, где и за что она идет. Зато теперь он выработал интерес ко всему, что делал его новый друг, – шутка ли, даже начал задавать вопросы! Что Ян делает в городе? Какая нелегкая его вообще сюда принесла? А много ли он денег зарабатывает?

Олислагерс давал ему ответы – ясные и простые, такие, чтобы Стив понял. Он был уверен, что дальше этого молчаливого парня сведения все равно не разойдутся. Но странное желание говорить не о себе, а о собеседнике не отпускало фламандца. В мыслях Стива по-прежнему копошилось нечто несказанное, и Ян по-прежнему предпринимал каждодневно попытки узнать, что это, процарапаться к этому чему-то. Его интерес теперь смахивал на серьезную одержимость. Он чувствовал, что расспросы не помогут, и сдерживал, как мог, свою страсть дознания – единственное, что заставляло его ходить каждый день на погост.

Он никогда не задавал вопросов, никогда не выказывал малейших просьб. Но когда могильщик спрашивал его о чем-нибудь, он предоставлял точные ответы, как бы давая ему все карты в руки.

– Видишь, Стив, – говорил он, – это секрет, но я поделился с тобой им, потому что ты мой хороший друг и я тебе доверяю!

Стив кивал в ответ. Он прекрасно понимал, что, когда у тебя есть друг, ты должен ему доверять, но все так же хранил гробовое молчание.

И вот настал день, когда Олислагерс рассорился с начальством. Директор фабрики вызвал его к себе и потребовал результатов, ведь до этого момента Яном не было сделано ровным счетом ничего. Фламандцу поставили непреклонный ультиматум – либо он что-то представляет на следующей неделе в доказательство того, что работает, либо последствия не заставят себя ждать. Директор, конечно, не сомневается в его полезности, просто хочет убедиться

лишний раз – будь у него хоть тень сомнения, он бы уже давно поволок нового горе-работника в суд. Кое-какие справки в Нью-Йорке по фигуре Олислэгерса все же были наведены; теперь дирекция фабрики была в курсе, чем Ян занимался не далее как в прошлом году. Предстояло принять серьезное решение и разобраться – не устроился ли Олислэгерс заниматься контрабандой химикатов или выкрадывать служебную документацию? Словом, ему нужно было срочно оправдать свое присутствие в штате.

Если что-то и удивило Яна Олислэгерса, так только то, что допрос подобного рода не состоялся несколько месяцев назад. Слишком долго на его безделье никто не обращал внимания.

– Вы правы, сэр! – сказал он директору фабрики. – Если мой единственный выбор сейчас – сделать для вас что-то полезное или отправиться в тюрьму, то я буду дураком, если выберу тюрьму! Но недели недостаточно. Мне нужно четыре недели!

– У вас в распоряжении, сэр, две недели, и ни днем больше, – сказал директор. – Доброго дня!

Целых четырнадцать дней – уже что-то; фламандец вердиктом был всецело доволен. Этого как раз хватит. Закрывшись в своей лаборатории, он курил и читал. В тот вечер на кладбище он рассказал Стиву в подробностях, какого рода казус с ним приключился.

– Придется убраться из этих краев, – подвел он черту. – Знать бы только куда...

Ян размышлял вслух, и Стив время от времени кивал или качал головой. Время от времени он бросал слово или задавал вопрос.

– Канада? – предложил могильщик.

Олислэгерс рассмеялся:

– Там мне оплатят той же монетой, что и в Штатах, – по сути, между ними и разницы-то нет. А мексиканская граница так охраняется, что и собаке не пробежать! Нет, нужно затеряться где-нибудь в большом городе. Черт бы побрал мою публичность! Сотня тысяч нанятых агентов растрезвонила весть обо мне, рыская по всей стране, и всюду полно людей, готовых сдать меня даже забесплатно – как проклятого немецкого шпиона. Уже целый год такая ситуация!

Решение проблемы так и не забрезжило по итогу их разговора. Но когда фламандец собрался уходить, Стив пожал ему руку – впервые за все время.

Следующим вечером Стив пришел к скамейке раньше.

– Я все обдумал, сэр, – сказал он. – Вам не нужно уходить. Оставайтесь здесь.

Фламандец посмотрел на него удивленно:

– Здесь? И где же?

Стив развел руками.

– Здесь, – повторил он. – Всех рабочих с кладбища увели на войну. Старик с радостью нанял бы вас – ему помощь сейчас ой как нужна.

– И кем бы он меня нанял? – спросил Олислэгерс, и тут до него дошло. – Могильщиком! Стив кивнул.

Фламандец расплылся в улыбке. А ведь недурно придумано. Работа могильщика не требует никаких специальных знаний – в отличие от поприща химика-фабриканта. Сразу же забрезжил план спасения. В запасе еще двенадцать дней – да этого более чем достаточно!

В тот вечер они долго обсуждали задуманное, не оставляя без внимания даже самые незначительные вещи. И был только один момент, по которому они прохаживались снова и снова: кто будет платить за новую одежду, которую придется купить для Яна? Фламандец не хотел этого, но Стив был полон решимости заплатить из собственного кармана. Мол, для друга не жалко.

Рано утром на следующий день на заводе доктор Ян Олислэгерс произвел небольшой взрыв в своей лаборатории, который не причинил большого ущерба, зато прозвучал очень громко. Сбежалась уйма народу – сам директор фабрики в том числе, – и все забарабанили

в запертую дверь. Когда та наконец открылась, их глазам фламандец предстал с полностью забинтованной головой – виднелись лишь глаза и рот.

– Бога ради, что случилось? – спросил директор.

Олислагерс придержал дверь открытой.

– Заходите, – ответил он. – Но только вы один!

Оттеснив остальных, Ян запер дверь:

– Что случилось, спрашиваете? А ровно то, что может стрястись в любой день и в любой лаборатории! Я сам себя поджег!

– Я пошлю за доктором, – решил американец.

– Еще б за самим чертом послали! – в сердцах бросил фламандец. – Думаете, у меня сейчас есть время на доктора? Вы мне всего две недели дали – всего две, и из них уже только двенадцать дней осталось! – и в назначенный срок я буду готов предстать перед вами, лишь оставьте меня в покое! Мне начхать на мое лицо – оно не имеет значения, когда горбатишь спину на такого чертовски равнодушного патрона!

– Славно, герр Олислагерс, как скажете! – Директор фабрики рассмеялся. – Может, вам какое лекарство принести?

– Увольте, сам свои раны залижу! – отмахнулся Ян. – А впрочем, есть одна услуга, которую вы вполне способны мне оказать. Я собираюсь провести урочные двенадцать дней, вовсе не выходя из этой комнаты, – не могли бы вы распорядиться, чтобы мне носили сюда еду, питье и все остальное, что я пожелаю? И да, чтобы все мои просьбы такого рода сразу же, без промедлений, выполнялись!

– Не проблема, герр Олислагерс! – ответил директор фабрики, уходя. Перед дверью он обернулся и добавил: – Когда вы докажете свою полезность на своем предприятии, я клянусь вам, вы ни в чем не будете себе отказывать!

Ян Олислагерс осторожно закрыл за ним дверь.

– Но если ты ничего из меня не выжмешь, сдашь меня в тюрьму, не так ли? – молвил он себе под нос.

Он осторожно задернул занавески на окне, а затем снял бинты с лица. Двенадцать долгих дней Ян Олислагерс сидел в своей комнате, курил и читал. У него не было никаких пожеланий, но директор присылал ему виски, вино, сигареты и всевозможные деликатесы. Бинты всегда были под рукой, и Ян тщательно наматывал их каждый раз, прежде чем открыть дверь.

Он не прикасался ни к чему из того, что лежало на столе, кроме маленького зеркала, которое он брал каждые пару часов, удовлетворенно отмечая, как растут волосы на щеках, подбородке и верхней губе. Цвет у них был темнее, чем у волос на голове, и росли они куда быстрее, чем он предполагал. В пятницу днем Ян отправил короткое письмо директору фабрики: «Встретимся завтра в полдень в лаборатории».

Управленец откликнулся на него – и никого в назначенный час не застал. Прихватив с собой самое необходимое, Ян Олислагерс будто сквозь землю провалился. Немедленно был организован розыск; фламандца искали повсюду – во всех сорока восьми штатах. Где угодно они пытались вынюхать его следы, да только не на маленьком кладбище городка Андернах.

Ян Олислагерс ушел ночью, незадолго до восхода солнца. Стив ждал его и сразу же помог ему переодеться. Пара больших солдатских ботинок, плотные брюки, синий свитер, куртка, шляпа и комбинезон были разложены на столе.

Им потребовалась пара часов работы, чтобы придать наряду побитый жизнь, слегка изношенный вид. Как только старый могильщик вышел из дома, Ян Олислагерс подошел к нему и попросил работу.

– Откуда ты родом? Как сюда попал? – спросил старик. – Кто тебя направил ко мне? – Не ожидая, впрочем, никакого ответа, он сразу перешел к насущному: – Ты по-немецки понимаешь?

Фламандец кивнул.

Старик потер морщинистые ладони:

– А, так вот в чем дело. Не хочешь высовываться из-за войны? Ну, я-то не возражаю – плачу тебе двадцатку в неделю, а величать тебя буду Майк! – Обернувшись через плечо, могильщик окрикнул: – Стив! Эй, Стивка!

Когда тот пришел, старик сказал:

– У нас новенький. Его зовут Майк, как и предыдущего. Покажешь ему работу?

Стив ухмыльнулся:

– Покажу, герр.

Но старик еще не закончил с расспросами:

– Где ты живешь, Майк?

– Не знаю, – ответил фламандец. – Разве нельзя занять комнату прежнего Майка?

– Что, только приехал? – проворчал старик. – Утренним поездом? Сожалею, парень, но у Майка не было своей комнаты – он жил в городе со своей женой! Придется тебе этим вечером пробежаться поискать жилье.

– А у вас в хозяйстве нет свободной комнаты?

– Ни одной. – Старик покачал головой. – Все живут в городе. Со мной только Стив.

На это Стив заметил:

– Пусть живет у меня.

Итак, Ян Олислагерс перебрался к Стиву – в маленькую каморку, пристроенную к склепу, посреди кладбища городка Андернах в земле Египетской. Он сделал комнату чуть более удобной для проживания, отправил Стива в город за походной раскладушкой и еще парой вещей, пробросил провод от ближайшего столба, чтобы запитать маленькую лампу, которая позволяла бы ему читать в постели.

Стив показал себя прекрасным товарищем. Он всегда вставал на полчаса раньше, приносил воду, чистил одежду и обувь за двоих, навещался в город. Они всегда работали вместе, и Стив помогал Олислагерсу с непривычной работой. За всю неделю, проведенную бок о бок, фламандец не заметил в этом парне ничего необычного.

Но одним вечером на Стива нашло странное беспокойство. Улучив немного времени для себя, Ян Олислагерс рискнул пройтись по улицам города. За прошедшее время борода его обзавелась должной густотой, и он уже не боялся, что его с ходу опознают. Когда он вернулся, Стив сидел на кровати и разговаривал сам с собой. Перед ним стояла открытая, но пока еще полная бутылка виски.

– Выпить решил, Стив? – окликнул его Ян.

– Нет, Майк, – пробормотал тот в ответ. Он повадился называть фламандца Майком, как и все остальные. Выждав некоторое время, он добавил: – Это для вас, герр. – Он встал с трудом, совершенно не в силах подавить свое возбуждение.

«Видать, малый хочет напоить меня. Что ж, выпьем», подумал Олислагерс.

– Давай сюда, друг, я не против, – произнес фламандец с улыбкой.

Они сели, чокнулись стаканами и выпили. Стив поморщился – ему пошло явно не пришлось по душе; но Олислагерс сделал другу одолжение и выпил, не дрогнув лицом. Он сначала рассказал о походе в город, потом – что видел по дороге, затем перешел на другие темы, помянул Нью-Йорк и остальные города. Стив старался не терять нить разговора, хотя то, чем он был про себя занят, не отпускало его ни на мгновение.

Постепенно почувствовав легкое опьянение, фламандец решил изобразить серьезное – стал смеяться, петь, приплясывать на якобы нетвердых ногах. Наконец, сделав вид, что очень устал, он бросился на кровать. Потянувшись за книгой, он сказал, что хочет немного почитать, и попросил Стива оставить еще один полный стакан у кровати. Ян постепенно опустошал его, перелистывая страницы. Стив не спеша раздевался ко сну. Олислагерс чувствовал, как парень

наблюдает за ним, не отводя глаз ни на мгновение. Наконец, уронив книгу, Ян закрыл глаза, зевнул, вздохнул и повернулся на другой бок, изображая спящего.

Стив сел рядом с ним на кровать, взял его за руку, поднял ее и опустил, легонько подул Яну на веки. Затем, убедившись, что его друг взаправду крепко спит, он выключил свет. Медленно Олислагерс открыл глаза, но ничего не увидел – в комнате было темно. И все же он совершенно отчетливо слышал, как Стив снова оделся. Сначала брюки, потом ботинки, потом свитер и куртка, и все практически бесшумно.

Затем Стив прошел через комнату, открыл дверь, вытащил ключ, вышел и провернул в замке с другой стороны. Судя по звуку шагов, он прошел через склеп и отправился прямо на кладбище. Вскоре звук стих.

Стоит ли пойти за ним? Дверь, конечно, заперта, но Ян смог бы и в окно вылезти. Тем не менее к тому времени, как он облачится, Стива уже не будет на кладбище. И этот парень явно хотел защитить себя от любого соглядатайства, поэтому и принес виски.

Кроме того, Ян нуждался в Стиве – нельзя было настроить парня против себя теперь, когда от него зависела тайна личности фламандца. Будь он полностью уверен, что Стив его не заметит, рискнул бы; но Стив заметит – он безумно подозрительный малый, он трезв как стекло, а Ян все-таки навеселе и даже не поймет, что произвел какой-то неосторожный шум. Все-таки стоит остаться.

Вскоре, снова услышав шаги снаружи, Ян изо всех сил напряг слух. Дверь в склеп открылась и снова закрылась. Там, в склепе, что-то явно происходило – кто-то расхаживал взад-вперед, шаркая ногами. И вот вновь тишина. Тихий, неузнаваемый голос произнес что-то и смолк на несколько часов. Шаги выписывали по утлomu помещению склепа некие странные траектории, и Ян не мог понять их смысл. Вот снова голос. Вроде бы Стива, но, возможно, Ян так думал лишь потому, что предполагал возвращение соседа. На деле он не поручился бы и за то, сколько людей там сейчас находилось. Слова, достигавшие его ушей, казались невразумительными обрывками, и часто фламандцу приходилось ждать полчаса даже и одного – и, само собой, он ничего не мог понять.

Наконец снова послышался топот тяжелых шагов, открылась дверь на кладбище – и такой на этот раз и осталась. Шаги эхом отдавались снаружи...

Олислагерс резко выпрямился в постели; его мозг напряженно работал. Когда он не услышал ровным счетом ничего, облегченно выдохнул, будто освободившись. Затем он долго вглядывался в темноту, пока наконец не позволил себе вновь заснуть.

Когда Ян проснулся, Стив стоял над ним. Слегка сдвинув одеяло, он осторожно тряс фламандца за руку.

– Вставайте, герр, – повторял он, – на работу пора.

Он протянул ему какую-то одежду, дал воды умыться. Одеваясь, Ян следил за ним. Стив выглядел ухоженно, опрятно. Когда они отправились вместе на кладбище, фламандец окинул быстрым взглядом склеп – его нутро выглядело точно так же, как накануне: старая мешковина – в углу, кирки и лопаты – на видном месте, откуда их легко было взять утром, куда было несложно вернуть вечером, чтобы следующим утром опять забрать.

Никаких следов ночного похода не осталось, и все же на полу валялись, забытые, несколько цветочных бутонов.

В то утро им пришлось много работать – выкопать три новые могилы. Пока лопаты скребли землю, выбрасывая суглинистые комья, и постепенно углублялись, Ян Олислагерс думал. Он прокрутил в голове свои воспоминания с того момента, как вернулся домой вчера вечером, но едва ли нашел что-нибудь весомое. Стив хотел напоить его, ясное дело, ради какой-то особой цели, чтобы фламандец крепко спал и не заметил, что происходит ночью.

А что, собственно, там происходило? Стив вышел, через некоторое время вернулся – с кем-то или в том же гордом одиночестве? Ян слышал шаги, но не смог бы поклясться, что

людей было несколько. И эти несколько брошенных неразборчивых слов с длинными паузами между ними – лишь раз Ян смог уверенно определить голос Стива. Да не факт, что там были какие-то ночные гости – Стив нередко заговаривал сам собой, когда рядом никого не было, как раз в такой манере – едва разборчиво, чуть громче шепота, слабым движением губ поддерживая на плаву некую мрачную мысль.

Но к чему тогда секретность? Нет, в ту ночь его все-таки навещал кто-то, и сей факт этот угрюмый парень всячески стремился скрыть. Возможно, именно поэтому он хотел так сильно остаться здесь, в землях египетских, – ради ночного гостя склепа!

Как странно это звучало – «ночной гость склепа»! Ян Олислагерс, впрочем, только улыбнулся своей мысли. Ничего ужасного или потустороннего не стояло за этими словами. Трупы всегда укладывали в маленькой часовне на другом конце кладбища, и лишь в очень редких случаях покойных – жертв самоубийств или особо кровавых расправ – справляли в склеп. За все время пребывания Яна здесь в склеп один-единственный раз принесли труп повесившегося старика – в два часа пополудни. По сути, помещение использовалось сугубо как пустая комната – кого-то и покоробит, наверное, но привыкнуть можно: комната есть комната.

Ян Олислагерс обдумал все, что он знал о Стиве. Он никогда не видел, чтобы тот разговаривал с незнакомыми людьми. Он мог посмотреть на кого-то, кому-нибудь даже по случаю улыбнуться, но и только. Время от времени он говорил со старым могильщиком и с другими помощниками, но только когда это было абсолютно необходимо для его работы. Работа, работа... только с Яном наедине Стив время от времени говорил о других вещах.

Тем не менее сомневаться не приходилось – фламандец был не единственный друг Стива. Был и еще один, и приходил он лишь изредка, потаенными путями.

И сильнее, чем когда-либо, Яна Олислагерса охватило горячее желание узнать, что за человек смог наложить столь сильный отпечаток на нехитрую душу гробокопателя из методистской семьи.

Его разговоры со Стивом свелись к минимуму, но жажда истины, чьи коготки крепко угнездились в Яновой душе, никуда не делась. Дни он посвящал бездумно работе, действуя почти как лунатик, а ночами лежал без сна в своей постели, одержимый одной лишь мыслью – *нужно узнать обо всем!* И эта мука усиливалась с каждым часом – чужая тайна все никак не давала покоя.

Однажды, в разгар раскопок, Стив воткнул лопату в землю и вдруг спросил:

– Что вас гложет, герр?

На это Ян Олислагерс сказал:

– Отвечу без обиняков – то же, что и тебя, Стив!

Тот не ответил. Постояв неподвижно какое-то время, он вдруг исторг сдавленный стон из своей груди. Но ни слова, ни малейшего словечка не сошло с его уст.

Однажды вечером, когда Стив готовил ужин, фламандец поднял чемодан на кровать. Он открыл его, порылся внутри и достал свой бритвенный набор. Футляр был красивый, с позолотой. Зачем ему теперь такая вещица?..

– Стив! – окликнул друга Ян. – Поди сюда!

Он сунул подарок ему в руку.

– Возьми, тебе нужнее. Ты каждый день бреешься, а твое лезвие старое и тупое.

– Не надо! Не надо! – заикаясь, пробормотал Стив, но Олислагерс настаивал:

– Бери. Разве ты не раздобыл мне одежду? Разве я – не твой друг?

Стив не поблагодарил его. Они молча поели, молча же легли спать. Но на следующее утро фламандец увидел со своей кровати, как Стив открыл бритвенный набор, взял новое лезвие и с комфортом побрился, выскоблив все до волосинки.

– Поддай мне чемодан! – велел ему Олислагерс, после чего достал оттуда коробочку с пудрой и помазок. – Вот, забыл отдать. Это идет в комплекте.

В те дни им приходилось много работать – людей все еще вербовали в солдаты, и казалось, что умирает больше, чем обычно. Ян и Стив вышли на смену пораньше, зарыли уже подготовленные могилы, вырыли новые ямы, подготовили полагающиеся в них гробы к проведению краткой заупокойной церемонии. Они закончили поздно; обратили внимание на имена тех, кого захоронили накануне, повторили их вечером за ужином – как показатель проделанной работы – и снова выбросили из ума.

– Орландо Сгамби, пятьдесят восемь лет. Ян Серба, двадцать два года. Теренс Ковач, шестьдесят лет, – перечислил Ян Олислагерс.

Стив кивнул и присовокупил:

– Анка Савич, девятнадцать лет. Алессандро Вентурини, семьдесят восемь лет. Осип Си... да-да, одиннадцать их сегодня было, одиннадцать. – Он налил себе чай.

Фламандец всеми своими костями ощущал проделанную работу. Последние недели он почти не спал, и теперь – валился с ног от усталости.

– Может, пойдем посидим на нашей скамейке? – предложил Стив.

– Я пойду спать, – отказался Олислагерс.

– Хорошо, – сказал Стив. – Тогда я тоже.

Они разделись. Олислагерс наблюдал, как его компаньон хлопочет по хозяйству – чистит одежду, полирует ботинки. Затем он тоже лег; Ян услышал его тихое дыхание, а затем, как всегда, тихий шепот во сне.

Вскоре он сам крепко заснул.

Посреди ночи что-то разбудило его. Прислушавшись, Олислагерс потер усталые сонные глаза. Кто-то рядом с ним разговаривал. Он прислушался – нет, звук доносился не с кровати Стива. Тишина, пауза, и вдруг два-три коротких слова где-то невдалеке от их склепа. И говорил определенно Стив...

Олислагерс сорвал с себя одеяло, вытянул ноги и уселся на краю кровати. Рядом с ним послышались шаги – шаркающие, волочащиеся. А затем еще одно громко изреченное слово голосом Стива... но что он сказал?

Затем дверь в склеп открылась – Ян услышал шаги снаружи. Он мгновенно вскочил, подбежал к окну и распахнул его. Там он увидел Стива, бредущего сквозь летнюю ночь; могильщик нес в руках что-то тяжелое, завернутое в белое полотно. Человеческая фигура... и совершенно точно – женская! Ян Олислагерс сразу приметил это.

– Анка Савич, – пробормотал он. – Девятнадцать лет.

Плотно закрыв окно, Ян почувствовал, как ночная прохлада омыла его тело, и, стуча зубами, задрожал. Он прислушался – шаги Стива вернулись. Входить он не стал – поступь раз за разом огибала склеп. Вдруг скрипнула ручка старого насоса, вода громко ударилась о дно ведра. Что-то терли, скребли, полоскали. И снова шаги. Дверь в склеп открылась и закрылась. Три шага – и отворилась дверь в их пристройку.

Ян не видел Стива, ничего не мог разглядеть в темноте.

– Анка Савич, – прошептал он. – Где она?

И из темноты кто-то ответил ему:

– Дома.

Ян прекрасно все понял. Дом – это здесь, а не на погосте. Дом – это...

Не говоря более ничего, Ян лег в постель, зарылся головой в подушки, натянул до ушей одеяло. В висках у него стучало, губы дрожали. Он стиснул зубы. Спать, спать, спать!

Стив явно чувствовал, что должен объясниться, но этого не произошло ни в тот день, ни на следующий, ни даже на третий; и все же фламандцу казалось, что нужно просто улучшить хороший момент для начала расспросов. И все же Ян их никак не начинал. Он подарил своему другу пару шелковых галстуков, кожаный пояс, красивый нож и множество всяких дру-

гих мелочей, от которых у Стива загорался взгляд. Он сидел с ним на скамейке по вечерам после работы, рассказывал ему длинные истории, как если бы его друг, который столько лет был закрыт в себе, теперь медленно учился слушать... и, наконец, говорить за себя.

И Стив заговорил. Поначалу это скорее напоминало утомительный фарс. То, что Ян Олислагерс позже записал на нескольких страницах, было добыто за несколько недель. Стиву отчаянно не хватало связности – простейшие уточняющие вопросы, которые время от времени ему задавал фламандец, часто настолько сбивали его с толку, что он напрочь терял первоначальную нить изложения. Его разум напоминал игрушку-головоломку: у него не было ни малейшего представления о причинах и следствиях, и частенько он путал факт яви с фантазией, пережитой где-то в недрах своего ума. Вымышленные или незначительные события могли настолько хорошо отпечатываться в памяти Стива, что затмевали реальные важные вещи. Стив позабыл имена отца и матери, зато хорошо запомнил, как звали одного из учителей в школе – того самого, который его, как оказалось, никогда не учил; работенка посудомойщиком в отеле в Сент-Луисе, бессобытийная поденщина, на коей продержался он ровно трое суток, запомнилась ему в подробностях. Стив мог точно описать кухню, на которой трудился, своих временных коллег, даже узоры на тарелках, пусть все это и имело место одиннадцать лет назад; с другой стороны, он и двух слов не мог смолвить о поприще ковбоя в Аризоне, хотя ковбоем он пробыл почти год – незадолго до того, как ему нашлось место гробокопателя.

Ян Олислагерс каждый вечер записывал то, что ему рассказывал Стив, непрестанно реорганизовывая, исправляя и дополняя наращиваемый материал. Ему казалось порой, что он работает с древним зашифрованным языком, ключа к которому никто не знал. Он должен был кропотливо угадывать букву за буквой, составлять вначале слово, а затем фразу...

Первое же слово, которое сложил пытливый фламандец, способно было отпугнуть многих малодушных, ибо звучало оно так: *некрофилия*.

Адвокат назвал бы деяния Стива преступлением, врач – плодом помешательства. Но для Яна Олислагерса они однозначно не были ни первым, ни вторым. Мысль о том, чтобы рассматривать действия Стива с моральной или этической точки зрения, даже не приходила ему в голову. Он понимал, что для того, чтобы оправдать и уразуметь их, существовал лишь один способ – думать сознанием Стива, внимать миру его чувствами.

К тому он и предпринимал попытки.

Итак, вот что записал фламандец – признание неполное и, возможно, содержащее определенные ошибки, но все же в нем гораздо больше исходило из души Стива, нежели из ума Яна Олислагерса.

Итак, Говард Дж. Хэммонд из Питерсхэма, штат Массачусетс, знал ничтожно мало о женщинах. В бытность кочегаром на мичиганской железной дороге однажды вместе с товарищем он посетил бордель. Годом позже, во время работы на угольной шахте в Канзасе, у него случились первые отношения с женщиной. В то время он делил комнату с женатым другом, обычным работягой-шахтером, который всегда работал в ночные смены. Сам Хэммонд трудился днем, и случилось так, что однажды та женщина, супруга его товарища, спуталась с ним. Она не была ни красива, ни молода – применять эти понятия к ней было богохульно.

И все же еще раз или два в своей жизни Говард Дж. Хэммонд в течение кратчайшего времени знал женщину. Но никогда не бывало у него чувства удовольствия или радости от всего этого, что уж говорить о любви.

Любовь пришла позже, когда он стал работать на кладбище.

Однажды утром, когда нежное весеннее солнце целовало молодые листья, Стив стоял в могиле, в которую только что сам опустил гроб. Раньше он никогда не слушал, что говорил преподобный, но тем утром внимал чутко. Ему показалось, что священник читает *особую* проповедь – для него одного. Поначалу пастырь говорил о том, о чем всегда говорится у откры-

той могильной ямы; но затем началось в его речи то, что предназначалось исключительно для Стива.

*О, беды родителей и безутешного вдовца! О, оба маленьких сироты, оставленные без матери! О, расцвет женственности, сломленный жестокими штормовыми ветрами в ранние годы!..* Пастырь повысил голос, обтер губы, тихо всхлипнул, живо изображая боль родственников, друзей и всего собрания. Он живописал молодую женщину, воспевал сонм достоинств ее души – благодетельной и истово верующей; он восхвалял ее любовь к детям, супругу и старенькой матери, в ярких красках изображал доброту, красоту и очарование покойницы...

И Стив пропал.

(Ян Олислагерс сделал пометку на полях: «Мог ли догадаться благочестивый святой отец, что в той проповеди отыгрывал роль великого Галеотто – этого наихудшего из похитителей догм?»<sup>3</sup>)

Слова о доброте, красоте и очаровании усопшей накрепко врезались в сознание Стива-Говарда. В тот вечер ему полагалось забросать захоронение землей. Он встал в могиле, снял венок и цветы, возложенные на гроб, а затем заметил, что пара винтов, державших крышку, ослаблена. Такое часто случалось. Машинально Стив достал из кармана отвертку, чтобы их завернуть обратно, но он насадил на ее жало хорошо сидящий винт по соседству и ослабил его вместо того, чтобы затянуть. То были не его деянья – что-то внутри взялось за него. Он открутил винты, все до единого, поднял крышку гроба и уставился на мертвую женщину.

Как она выглядела?.. Стив давно позабыл – возможно, в следующие же полчаса. В его памяти жили лишь банальные словеса преподобного, и только с их помощью он мог ее описать своему другу: *доброта, красота, очарование.*

Стив глядел на мертвую женщину. Прядь волос упала ей на лицо, и он откинул ее. Цвет? Нет, он не запомнил цвет ее волос. Но его напряженный палец коснулся бледной щеки и нежно прошелся вверх-вниз по ее лицу.

Затем Стив закрыл гроб, накрепко затянул все винты, вылез из могилы и закопал ее.

Это был его первый опыт на ниве истинной любви. До сего момента Стиву было совершенно безразлично, кого именно хоронят. В гробу лежало что-то мертвое, и это что-то требовалось поскорее предать земле – вот и вся морока.

Теперь же он стал прислушиваться к словам, произносимым священником, часто даже не у самой могилы, а в маленькой часовне в северном околоте кладбища. Именно там проводилось большинство служб, и гроб частенько оставляли в часовенке на ночь, до уборки перед следующим отпеванием.

Иногда хоронили молодых женщин. И совсем еще девушек.

Стив был единственным работником, жившим на территории кладбища. Каждый вечер он, согласно обязанностям, совершал последний обход, заглядывая в том числе и в часовню.

И вот он входил туда. Подступал вплотную к гробу, смотрел на мертвых женщин, поправлял венки, разглаживал какую-нибудь складку на одежде покойницы.

И медленно, бесконечно медленно, долгими ночами, он учился, как незрелый мальчуган, ласкам любви. Его учителя были тихи, мягки и очень добры к нему. Его жесткие руки научились ласкать, а не лапать; с его губ срывались порой бессознательные нежные звуки, а иногда и слова. Стив нежно касался бледных щек, лбов, рук... но никогда, никогда не поднимал им век. Так ему велело наитие – Стив вообще мало что делал сознательно. Он просто делал, а осознавал уже после того, как все произошло.

---

<sup>3</sup> Галеотто Марцио (1427 – ок. 1497) – итальянский ученый, гуманист. Занимал должность учителя поэзии и риторики в университете Болоньи, но в 1477 году был обвинен инквизицией в ереси, поскольку в своих христологических исследованиях отрицал необходимость боговоплощения для спасения человечества.

Рукою он ласкал нежную шею и затылок очередной покойницы. Дрожа, он сдвинул с ее груди венок из сирени, испуганно ощупал податливую плоть – и вот, наконец, склонив голову, поцеловал ее в губы и... возможно, еще в плечо или в щеку: он не помнит, что там было дальше. То был, несомненно, очень важный момент в жизни Стива-Говарда... только он его совершенно не запомнил.

Он срезал цветы на кладбище и носил их ночью своим возлюбленным. Сметая все другие, менее искренние подношения в сторону, он вкладывал в их холодные руки *свои* цветы.

Когда-то, когда еще были живы, эти женщины принадлежали другим – родителям, супругам и любовникам; теперь же – ему одному. Стива очень волновала эта мысль; они приходили к нему и становились собственностью его одного во всем мире. И не было в том никакого собственногоничества и тирании. Если кто-то кого-то и принуждал к чему-то, то лишь они – его. Этим странным безжизненным созданиям Стив отныне служил. И они, несмотря на это, принадлежали ему, и только ему.

Первая из них, что пригласила его на брачную ночь, была молодой и черноволосой. Он помнил цвет ее волос, но напрочь забыл имя. Она покоилась не в часовне, а в могиле, приготовленной к закапыванию.

Стив пришел к ней ночью, ослабил крышку – то была непростая задача, ибо гроб был плох, дешево сделан и в дополнение к шурупам весь ошетинился погнутыми гвоздями. Но там лежала та брюнетка, и ей Стив подарил свои цветы. Он ласкал ее и покрывал нежными поцелуями, тихо нашептывал слова любви.

И вдруг она попросила его:

– Возьми меня с собой!

– Как она тебя попросила? – уточнил Ян Олислагерс.

– Попросила, – эхом повторил Стив.

– Ее губы двигались?

Он покачал головой.

– Умоляющий взгляд?..

– Нет-нет, ни разу им глаза не открывал, никогда.

– Тогда как же она обратилась к тебе, дружище?.. Как же?

Но Ян так и не добился от него иного ответа.

– Она попросила меня, – твердил Стив. – Попросила.

Тогда он поднял ее, понес по тихой дорожке кладбища в склепный дом. Затем он уложил ее на старые мешки. Они стали их брачным ложем. Но он насыпал поверх них тьму нарциссов. Мертвые женщины любят цветы даже больше живых.

Черноволосая была первой. Затем появилась та, которую звали Кармелита Гаспари, она и подарила ему коралловое ожерелье.

– Она... подарила тебе? – снова удивился Ян.

Стив кивнул.

– Как? Как это произошло.

Он беспомощно огляделся. Он не знал.

– Она... подарила его... мне.

У него была еще блондинка. И одна с рыжими волосами, которую звали Милен. И еще одна... Им больше не требовалось ни о чем просить – Стив и так теперь знал, как нужно обо-

даться. По ночам он выходил на кладбище или в часовню, брал свою невесту и относил ее в склеп, где и брала начало их единственная незабываемая ночь.

Он никогда не забывал убирать цветы. И они всегда сами говорили ему каким-то уму непостижимым образом, какие именно цветы нужны. Одна хотела розы, но не какие-нибудь, а самые красные. Другая пожелала белоснежных лилий с высокими стеблями – тех, что произрастали за домом старого Павлачека. Одна просила цветки жасмина, а другая – букет глициний, буйно расцветших по всему городу. Были и темно-синий ирис со старых могил немцев, и цветы липы с дерева над скамейкой, где сживал со Стивом Ян, и бобовник, что рос неподалеку от ратуши...

Никто, впрочем, никогда не спрашивал туберозы.

И весь этот мертвый язык Стив прекрасно понимал.

Он был, в сущности, великовозрастным ребенком, когда прибыл в Андернах, что в землях египетских. Но вот одна мертвая женщина сделала из него мальчика, пробудив в его сердце любовь своими *добротой, красотой и очарованием*. Тогда он впервые открыл глаза на этакое чудесное явление.

В те тихие ночи в часовне из мальчика вырос юноша, познавший грезы мертвых.

И вот Стив стал мужчиной. Ведающим. Уверенным и убежденным.

Живые женщины были недоступны ему, ведь он их не понимал. Но по такому поводу горевать всяко не стоило – пусть остаются такими, какие есть. Его мир был здесь, на погосте Андернаха. И этот мир был создан только для него и принадлежал ему одному, простой и безукоризненный.

Он, Стив, был его единственным хозяином. Но затем ему открылись новые тайны. Он никогда не доискивался, никогда не докапывался, как это делал его друг-фламандец, но ему открылось, что цветы на кладбище вокруг него были ответами на все вопросы. Свежая роза улыбалась ему часами, если день был погожий и располагал к тому. Ничто никогда не казалось Стиву странным и ненормальным. Все было так просто, так ясно. Нужны только цветы, вот и все.

И фламандец подумал тогда: иногда рождаются на свет такие люди, чья любовь так сильна, что простирается за пределы жизни, даже в царство самой смерти. Так она сильна, что способна на краткий миг возратить усопшего в мир живых. Многие поэты воспевали сей процесс. Хельги, герой скандинавских Эдд, должен был вернуться из страны мертвых обратно на свой погребальный холм, к ждущей его Сигрун, – *должен был*, ибо его держала здесь ее великая любовь. Мертвый герой в ту печальную ночь обнял свою жену в последний раз.

Обдумывая этот миф, Ян Олислагерс часто приходил к мысли о том, что все это было построено лишь на сильных эмоциях, перекрывавших ход всем другим мыслям и чувствам. Несчастье – или же величайшее счастье в мире? – быть одержимым этим диким пламенем отрицания смерти снисходило лишь на тех, кто обладал волей, выкованной из стали, такой, что позволяла утраченных возлюбленных рождать заново в горниле собственного духа. Так одержим был Орфей, отправляясь искать свою Эвридику. Сильная воля к жизни способна затронуть и мир мертвых – в этом весь секрет.

Вот только в случае Стива все было иначе.

Стив был хозяин в своем саду смерти, но теперь его хозяйство настолько разрослось, что стало заглядывать на мир живых, существовавший до той поры независимо.

Впервые Ян понял это на похоронах братьев Столинских, двух польских шахтеров, погибших в обвале. Взгляд Стива упал на молодую девушку, которая стояла прямо у могил. Он долго смотрел на нее, а потом улыбнулся.

– Она вскоре придет ко мне, – прошептал он на ухо Яну. – Она уже почти моя.

С тех пор он внимательно наблюдал за рядами скорбящих, на которые не обращал прежде ни малейшего внимания. Им нравилось прятаться за черными пиджаками и юбками, но Стив все равно находил их – женщин и девушек, приходивших на кладбище украшать могилы. Он наблюдал за каждой, тщательно оценивая, и порой улыбался, когда странное внутреннее чутье говорило ему: *эта скоро будет моей*.

Когда он изредка выбирался в город, тоже смотрел на женщин, шагавших вверх и вниз по улицам, прятаясь в дверных проемах и за стеклами окон.

– Вон та, – шептал он, – вон та!

Его лучший день, день поминовения, наступал как раз перед Пасхой. Все могилы стояли украшенные и убранные, а рядом с ними выстраивались плачущие женщины. Стив расхаживал по кладбищенской тропке, иногда застывал и оглядывался по сторонам, хитро улыбаясь. Он казался этаким довольным бургером на рынке, где много хороших товаров, в час распродажи, о которой ведал лишь он один.

Один ли?..

Казалось, его объектам внимания тоже что-то перепадало от этого знания. Чувства подсказывали им что-то, для чего не требовались слова, сигналили о некоей невыразимой угрозе, как-то связанной с присутствием могильщика.

В последующие дни Ян Олисласгерс много раз видел, как его компаньон улыбается и оглядывается. Он внимательно наблюдал за Стивом – гораздо внимательнее, чем прежде. Похоже, только Ян и знал, что греет душу могильщику – он не видел, чтобы кто-то другой подозревал в выражениях тех истинное их значение, ибо ничто на это не указывало. Во взглядах Стива не было ничего ужасного или пугающего, улыбка не казалась фальшивой или дьявольской. То был полный спокойствия взгляд, то была вполне дружелюбная улыбка.

И все же и женщины, и девушки каким-то образом чувствовали его помыслы.

В часовне во время молитвы одна молодка упала в обморок под его пристальным взглядом. Это было всего один раз, и Ян Олисласгерс подумал, что у происшествия были и свои, никак не связанные с вниманием Стива причины. Но глупо было отрицать: девочки спешили уйти всякий раз, как в поле зрения маячил Стив. Они прятались за юбки матерей – одни только девочки; мальчики – никогда. Молодые матери крестились, завидев его. Даже старухи пугались, зябко поводя плечами, что-то бормоча про себя, вскрикивая, если он, идя мимо, задевал их.

Дело зашло так далеко, что девочки забегали в дома, когда Стив шел по улицам. Ян Олисласгерс не мог знать, ходили ли об этом в городе какие-либо пересуды, так как избегал разговаривать с кем-либо из городских.

Только однажды этот странный страх перед Стивом имел последствия. Когда Стив вернулся домой с работы, он увидел пару, стоящую у могилы, новобранца и его девушку. Последняя, стоя к нему спиной, отламывала ветку выюна. Внезапно, словно почувствовав его пристальный взгляд, молодая девушка быстро выпрямилась, обернулась и закричала. Солдат, услышав ее крик страха, увидев, как его невеста побледнела и задрожала, спросил:

– Что случилось?

Она указала на Стива и прошептала:

– Вон тот, вон там! Он!..

Стиснув кулаки, молодчик подошел к Стиву и стал кричать на него:

– Ты, проклятый негодяй! Как ты смеешь! Она моя невеста! Она!..

Но он так и не закончил фразу, а Стив так и не ответил, зато его взгляд был полон таких запредельных спокойствия и умиротворения, что и самый придиричивый не сыскал бы в нем ничего дерзкого или оскорбительного. Новобранец осекся, отошел на шагок и тихо проговорил:

– Извините меня, сэр... мне очень жаль.

Стив спокойно продолжил свой путь. Очевидно, он сам едва ли осознавал свою странную силу. Зная, что она у него была, он не придавал тому значение, не беспокоился ни капли на сей счет. Да, он улыбался часто в присутствии прекрасного пола, но в том не было ни сознательной гордости, ни знака превосходства. И ни разу Ян Олислагерс не смог разглядеть даже малейшего признака сознательного и преднамеренного своеволия.

Когда он в своих размышлениях взывал к Стиву, великому мастеру смерти в городке Андернах, этому незаметнейшему из монархов, говорили лишь его умозаключения, а вовсе не эмоции Стива. Ситуация казалась сложной при обдумывании, но становилась простой и даже естественной, чем больше Ян пытался проникнуть во вселенную Стива. Едва пали все заслоны и предрассудки – было совершенно ясно, что у тихого могильщика таковых уже не имеется, – тогда его мысли и действия и стали мыслями и действиями замкнутого в себе ребенка, который играл в свою собственную игру. Лишь насквозь мирскому человеку вроде Яна Олислагерса они могли показаться проявлениями черной, как ночь, природы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.